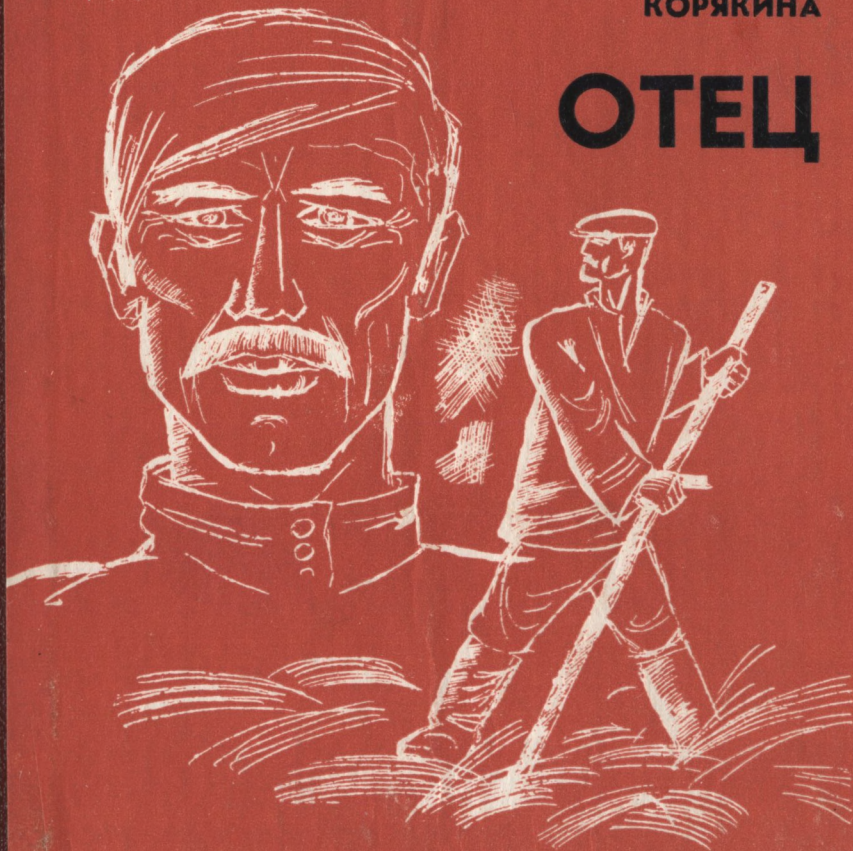




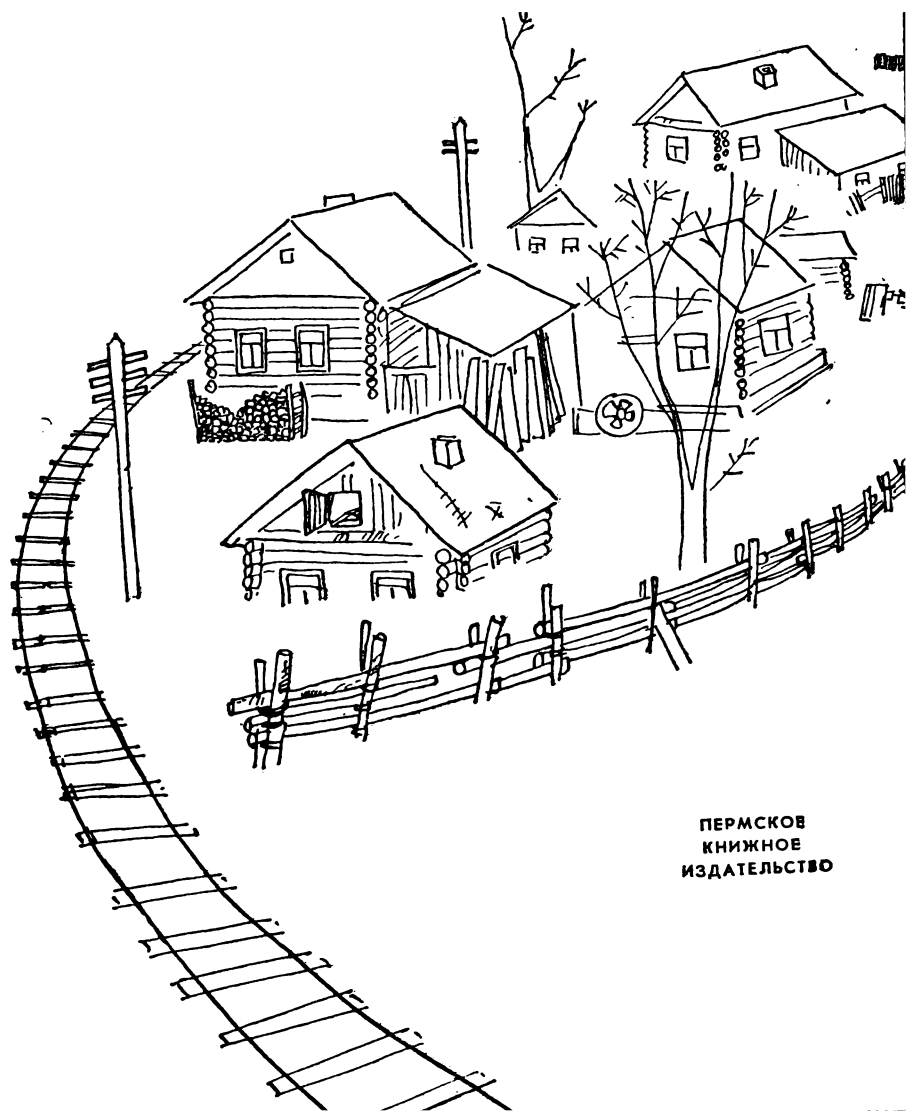
МАРИЯ  
КОРЯКИНА

# ОТЕЦ

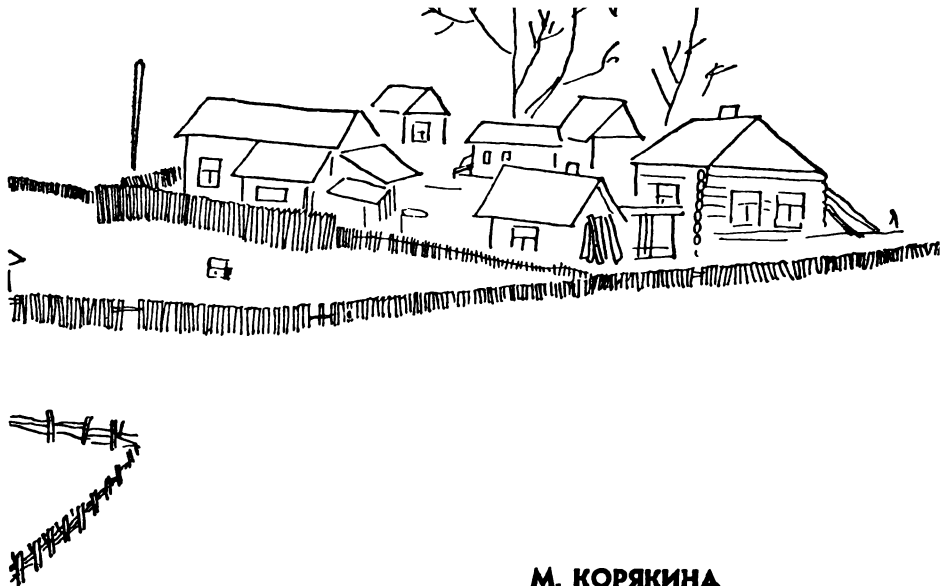








ПЕРМСКОЕ  
КНИЖНОЕ  
ИЗДАТЕЛЬСТВО



**М. КОРЯКИНА**

# **ОТЕЦ**

**ПОВЕСТЬ**



ОТЕЦ МОЙ  
РАБОТАЛ  
СЦЕПЩИКОМ

**Д**етство мое прошло в уральском рабочем городке, приютившемся среди гор. Дымил в нем завод, чадила дымом и угольной пылью станция. Дыму было так много, что перед ненастной погодой деревянные низкие дома тонули в мутном тумане.

Была в городе одна прямая улица — центральная, с булыжной мостовой. Осенью и весной все движение и вся жизнь сосредоточивались на этой улице и возле железнодорожной линии, потому что по другим улицам и переулкам из-за грязи становилось ни проехать, ни пройти.

Летом было наоборот. На этих улицах и в переулках зеленела трава, они обновлялись, светлели и делались вроде бы шире. На мостовой же бывало до того пыльно, что пыль зачерпывалась в неглубокую обувь, кружилась в воздухе, скрипела на зубах, серым слоем оседала на стриженных ребячьих головах, и стоило кого-нибудь из них хлопнуть по голове, как от него, словно от мучного мешка, густо клубился и медленно-медленно оседал пепельно-серый бус.

Люди в городке жили разные: и победнее, и побогаче. И гостились-роднились они соответственно.

На нашей Линейной улице вдоль железнодорожной линии стояли в ряд одноэтажные деревянные дома с палисадниками и без палисадников. Народ здесь жил трудовой, спокойный, жил по-соседски уважительно и дружно.

На центральной улице было больше домов двухэтажных, и жили там люди интеллигентные: учителя, врачи, продавцы и начальники. К начальникам мы относили тех, кто на работу ходил с портфелями или с папками и в чистой одежде.

Была в городе еще одна улица, пожалуй самая знаменитая, звалась Коммунальной. Вся она была сплошь из бараков, новых и старых, уже покосившихся и по окна вросших в землю. Бараки эти почему-то назывались дома-

ми жилкооперации. Из-за них и улицу чаще называли Жилкооперацией. Говорили, например: «В Жилкооперацию нынче мануфактуру привезли», или: «Из Жилкооперации бабы сказывали...», или еще: «На Жилкооперации пожар случился...»

Наш дом стоял в низине, двумя окнами выходил на линию и двумя в огород. Внутри он был разделен на комнату и кухню. В кухне с потемок и до потемок хозяйничала мать: хлопотала у печи, громыхла ухватами и чугунами, варила семье обед, готовила поило корове, стирала. Находились на кухне дела и для нас: надо было толочь вареную картошку курицам, мыть посуду, носить воду, щепать лучину, цедить квас, чистить медный самовар.

Комната была по семье — большая. В простенке меж окон, выходивших к линии, стоял большой стол, над ним висело зеркало с выбитым внизу углом, от которого наискосок бежала трещина, сначала прямая и широкая, потом она тоньшала и уже чуть заметным волоском обрывалась, не достигнув верхнего угла. Когда мы ссорились между собой, то в первую очередь непременно делили это зеркало пополам, по трещине, и с боями отставивали «свою» половину. Дело доходило до того, что мы гамозом взбирались на стол, шаткий, с проносившейся на углах клеенкой, хватались за зеркало, толкали друг дружку. И плохо бы тому зеркалу пришлось, если бы из кухни не выходила мать.

Однажды бой за зеркало разгорелся особенно жаркий. Галка, ухватившись за угол рамки, с такой силой рванула его на себя, что повалилась со стола. Гвоздь из стены вырвался и повис на пеньковом шнурке, на котором держалось зеркало. Мы оцепенели, но зеркало из рук не выпускали. Гвоздь раскачивался на шнурке, и в разом наступившей тишине было слышно, как он позвякивал о зеркальное стекло.

Выскочила из кухни мать. Галка захныкала, мы, прислонив зеркало к стене, начали сползать со стола. Мать поглядела пристально на каждого, с силой давила себе ладонью грудь, поморщилась и сказала:

— Завтра же велю Антону записать которых на площадку. — И ушла в кухню.

Галка с Нинкой стали ходить на детскую площадку, организованную летом в пустующей железнодорожной школе. Площадка эта была вроде пионерского лагеря, только ходили туда на весь день и школьники, и малыши. Я любила провожать сестренку на площадку, любила смотреть на воспитательницу тетю Дусю, ласковую, красивенькую, с часами на руке.

Отец вбил новый гвоздь, повесил зеркало на место, и мы с той поры больше его не делили.

В переднем углу был приколотен угловик, над ним полочка с иконами, перед которыми в канун праздников и в праздники мать зажигала лампадку. В другом углу один на другом стояли два кованых сундука, покрытых пестрыми ковриками из лоскутков. В верхнем сундуке лежали рубахи, белье, полотенца, в уголке — сверток с документами и домовая книга. Туда же мать убирала письма, нечасто приходившие от родственников, и отцовскую получку. В нижнем сундуке хранились скатерти, Ольгино новое одеяло и другие вещи поценней.

У заборки, разделявшей избу на комнату и кухню, стояла узкая железная кровать, заправленная одеялом из разноцветных клинышков. Одну спинку кровати прикрутили проволокой к гвоздю в заборке — чтоб не шаталась. На кровати спала старшая сестра Ольга; а иногда отдыхал отец.

На окнах висели филейные шторы в половину окна: мы их сами вязали и расшивали. Крашеный пол по праздникам застилали домоткаными половиками в ши-

рокую полосу, стол и угловик покрывали кружевными скатертями, которые когда-то давно связала мать, — и в избе у нас сразу делалось красиво. В такие дни мы вели себя смирно, по полу ходили босиком, не возились, чтоб не сбить половики и не запачкать скатерть. Но такое житье быстро надоедало, и мы бурно радовались, когда наступали будни, половики с полу снимали, вытрясали и укладывали на Ольгину кровать под матрац, а скатерти убирали в сундук — до следующего праздника.

Еще в комнате было много табуреток, отцовская седуха и стояла на кирпичях чугунная печка. А в простенок у порога было вбито с десяток гвоздей, и на них надеты катушки из-под ниток — вешалки.

На ночь мы стол отодвигали, стлали на полу от стены до стены постель и спали на ней вповалку.

Линия перед нашим домом делала пологий изгиб, будто нарочно подворачивала поближе, и оттого, наверное, когда мимо проходил состав, особенно товарный и особенно ночью, изба наша начинала мелко подрагивать, сначала потихоньку, затем сильнее, сильнее, и казалось, она вот-вот сорвется с места и тоже помчится вслед за составом. Но шум постепенно затихал, и изба, еще чуть подрожав, успокаивалась, замирала до следующего поезда. Мы, ребяташки, могли безошибочно отличить басовитый свисток «Феликса Дзержинского» от густого гудка «Серго Орджоникидзе», а уж от тонких, пронзительных свистков маневрушек — и подавно.

Семья у нас большая: девять ребят и отец с матерью. Старшая сестра Ольга — невысокая ростиком, белолицая, плотная, как репка, подвижная и веселая. Русые волосы ее вились крупными кольцами. Мать рассказывала, как Ольга маленькая тяжело болела scarлатиной, как ее еле выходили, как она медленно и трудно потом выздоравливала. Но еще медленнее отрастали ее стри-

женные волосы. Зато как отросли, так и закучерявились. На левой щеке у Ольги отметина, как родимое пятнышко: в детстве ее клевал петух. Смеялась Ольга звонко, заразительно, делала все ловко и споро. Она ходила в рукодельный кружок и дома между делами строила для себя наволочки и комбинации. У Ольги уже был синий шевиотовый костюм и коричневые туфли на венском каблучке, с двумя ремешками крест-накрест. Для нас обутки шил и чинил отец, а вот Ольге сшили туфли на заказ. И еще лежит в нижнем сундуке голубое сатиновое одеяло, легкое и пышное. Мы сами его стежили, и мать уверяла, что красивей и лучше никто выстежить не мог, — это Ольге приданое.

С Ольгой мы жили дружно, я ее очень любила, и мне нравилось наблюдать, как она старательно и красиво вышивает. Я только часто думала, что, наверное, трудно быть в семье старшей: уж очень много приходится делать, да еще с маленькими возиться. И самое удивительное, Ольга все исполняла, что бы ни заставила мать, не сердилась, не препиралась, как мы, не говорила: «Опять я?» Глядя на Ольгу, и мы старались не отлынивать от дел, слушаться матери и не досаждать ей.

За Ольгой шли братья, Коля и Володя, близнецы, спокойные, трудолюбивые, очень дружные и очень похожие друг на друга. Светлые волосы у обоих крутыми козырьками торчали над лбом, руки были крепкие, губы полные, голоса грубоватые. Они носили одинаковые рубахи и фуражки, одинаковые сапоги с союзками. По имени их никто почти не называл, им говорили «парни» или «ребята». И дела для них подбирали такие, которые сподручней делать вдвоем: копны на покосе носить, дрова пилить, навоз в огород вывозить.

Были у парней и свои занятия: они выстругивали из липовых поленьев фигурки разные, еще делали сапож-

ные колодки и гнули из фанеры самодельные чемоданы — маленькие и побольше. Все свободное время они возились, летом под навесом, зимой возле буржуйки, пыхтели и так же тихо радовались, если выходила удача.

Отец уважительно относился к увлечению сыновей, по-своему одобрял, иногда в их отсутствие подолгу рассматривал чемодан или замысловатую фигурку, чуть заметно улыбался и бережно клал на место. Когда надо было прошивать стельки или делать деревянные шпильки, отец не отрывал парней от заделья, а, если время терпело, откладывал работу до другого раза.

Антон, третий брат, был двумя годами моложе близнецов и вовсе на них не походил. В семье он вел себя на особицу, самостоятельно, при случае командовал нами, проверял тетрадки, сам учился хорошо. Из пионеров перешел в комсомол и стал выполнять много общественных поручений: отвечал за школьный уголок природы, по вечерам чертил какие-то диаграммы, графики и схемы. Со старшеклассниками в школе разговаривал как равный, если было дело, смело входил в учительскую, отчитывал на перемене раздурившуюся малышню. И в школе и дома за такое поведение Антона часто ставили в пример.

Было и у Антона свое увлечение: он любил рисовать портреты. Срисовывал их с открыток, с картинок, со старых учебников. Широко располагался за столом, доставал жесткую белую бумагу, клал перед собой карандаш, линейку, резинку, расчерчивал лист на клетки, на такие же клетки делил портрет или картинку и старательно, по клеткам срисовывал. Мы, бывало, облепим стол со всех сторон, глядим и не дышим, чтобы не подтолкнуть. После мы подолгу с завистью и интересом рассматривали портрет Ленина, Пушкина или Гоголя, нарисованный Антоном. С испугом и восторгом мать

смотрела больше и пристальней на Антона, чем на портрет, глаза ее постепенно влажнели, и делалось понятно, что именно на Антона мать возлагает какие-то особые надежды.

— Может, так оно и было бы, если б не случай...

Однажды мы не успели разойтись из-за стола, как Антон поднялся и решительно заявил, обращаясь к матери:

— Мама, завтра мы будем убирать с церкви крест, будем закрывать церковь — постановление такое вышло. И нам тоже надо снять иконы. Религия — это темнота и дурман, отсталость и опиум... Ты сама или мне?... — смешался Антон, посмотрев на мать, изготовившуюся перекреститься после еды.

А она, с занесенной ко лбу рукой, так и окаменела. Так и стояла. Так и глядела на Антона пристально и горестно.

Все молчали. Васютка стал слезать со скамейки, загляделся, не дотянулся ногами до полу, упал и захныкал.

Мать очнулась:

— Вот что, сынок, — она медленно опустила руку, оглядела всех и устало, но твердо заговорила: — Что вы там решили насчет церкви — дело ваше, раз решать взялись. Токо что я тебе скажу: переделывать нас не тебе. Мал еще. Да и поздно... А не глянется — так вот тебе бог, — мать кивнула на иконы, — а вот тебе порог, — со смыслом посмотрела она на дверь, а потом на Антона.

После она никогда не вспоминала этот случай, но к Антону сделалась настороженней и, если соседки по привычке ставили его в пример, хмурилась и разговор такой не поддерживала, будто не слышала.

Антон остро почувствовал перемену в матери, переживал, даже выслуживался перед ней, но безуспешно, зато к нам неожиданно сделался ближе, добрей.

Я в семье средняя, и положение мое в семье было несколько странное. Иногда мне говорили, что я большая, в другое время — что еще мала. И всякий раз я не знала, куда меня причислят, к большим или к маленьким, и чем мне лучше заниматься, делами или играми, и как вести себя.

И, наверное, оттого, что я часто не знала, какая же я на самом деле, большая или маленькая, я очень привязалась к отцу и любила его тихой, затаенной любовью. Отец это, видимо, как-то чувствовал и никогда меня не обижал. Правда, он вообще никого из нас за всю свою жизнь ни разу пальцем не тронул, но меня, как я теперь понимаю, незаметно ласкал и баловал.

Моложе меня — Ленька, с голубыми чуть навывкат глазами и большой головой на тонкой шее. Ленька с малолетства боялся коров, любил поспать и мог на спор с разбегу лбом открывать настежь дверь из избы.

За Ленькой — Галка, тоненькая девчонка. У нее жиденькие до плеча косички, острые глаза, маленький твердый носик и покладистый характер.

Нинка и Васютка пока малы, и говорить о них много нечего.

Мать у нас небольшая, полногрудая, крепко сбитая и неутомимая. Волосы она заплетала в нетолстую косицу и закалывала на затылке шпильками. Держала она нас в меру строго, иногда маленько баловала, но терпеть не могла, если мы болтались без дела и слонялись из угла в угол, если у кого-то оборвалась пуговица, проносились пятка либо рукав порван на локте. Она и сама была всегда опрятна и всегда занята. И, наверное, поэтому мы смотрели на других мам не очень серьезно и думали, что вот у нас мама — настоящая мама!

Все она делала быстро и ловко, ничего не проливала, не роняла. Если выкраивала ребятам рубахи или нам

платья, то расчерчивала и резала материал уверенно, а после терпеливо показывала Ольге и мне, как заделывать обшлага на рукавах, как петли метать.

У других ребята, бывало, ластятся к матери, льнут. У нас такого не было. Если мать и присаживалась ненадолго, то колени ее никогда не бывали свободными: на них всегда шараборил ручонками, ворковал или посапывал у груди маленький.

Отец работал составителем поездов. Прежде их просто сцепщиками называли. Работа у составителя тяжелая и опасная.

Особенно трудно отцу приходилось зимой. Промасленные рукавицы не удерживали тепло, руки в них коченели еще пуще, а голой рукой ни к чему не притронешься. Колеса у вагонов гулко скрипели, еле крутились, стрелки в сылом тумане были чуть различимы. Всюду скрежет, стук, скрип и простуженное пыхтенье паровозов.

Большой палец на правой руке отец рассек на покосе литовкой. Прошло время. Зажил палец, только сгибаться перестал, смешно оттопыривался и мерз пуще других. Мать обшила напалок рукавицы изнутри меховым лоскутом — и стало получше.

Придет отец утром после ночной смены: кончик его большого с горбинкой носа озноблен, брюшки пальцев у рук — тоже. Шагнет отец в избу, впустит клубы густого холодного тумана, постоит с минуту, поставит в угол фонарь, похожий от куржака на большую елочную игрушку, и начнет с трудом, медленно развязывать и снимать башлык, шапку-ушанку. Затем снимет полущубок, огладит усы. Заметив перед собой сухие теплые валенки, подставленные кем-нибудь из нас, тяжело опустится на табуретку и одним только взглядом попросит того, кто поблизости, пособить снять стылые валенки.

Мы кинемся к отцу, и не по одному, а сразу двое, а то и трое — нас же много! — тянем валенок, хохочем, а то и подеремся. Отец смотрит, смотрит на нас тепло, устало и скажет:

— Ну, ладом же надо. Вот та-ак.

И все.

Переобувшись, отец умывался, шумно сморкаясь, и садился за стол. А на столе — двухлитровая кринка молока с порыжевшими от печного жара краями. Молоко холодное, топленое, с затвердевшей золотистой корочкой, да каравай хлеба, только что вынутый из печи, круглый, мягкий, пахучий. Мать принаравливалась испечь хлеб к приходу отца, знала, как он любит, пуще пирогов, такой горячий, мягкий хлеб.

Отец опять оглаживал усы, ногтем большого, негибающегося пальца протыкал хлеб сначала вдоль, потом поперек. Похрустывала под его пальцем корочка, и по избе разносился хлебный дух. Затем отец бережно брал каравай в руки, разламывал его по этому пунктиру на четыре части и клал перед собой еще горячие, ноздристые куски. Неторопливо наливал в кружку молока и принимался есть.

Съест отец весь каравай до крошечки, и молоко все выпьет. Тут же, не выходя из-за стола, свернет сигарку, покурит уже сомлело, спокойно и отправится на печку спать.

Мучительно тянулось время, когда отец работал в ночную смену. Тогда мать строго-настрого наказывала, чтобы никого и слышно не было. Мы все это понимали, разговаривали только шепотом, рисовали, стругали, шикали беспрестанно друг на дружку и все поглядывали на печь: скоро ли отец выпится?

Он просыпался часа через четыре, и мы сразу оживали: можно было шуметь, играть и даже драться.

Игры у нас в основном были железнодорожные. Мы играли в составителей и машинистов, в кондукторов и проводников. Играли шумно, содомно. Иной раз расходились до того, что мать на секунду хваталась за голову, закрывала глаза, а после брала полотенце и охаживала им тех, кто постарше, в назидание младшим. Если же по ходу игры у нас случались крушения, мать бранилась и тут же находила всем дело: раз, говорит, не умеете играть ладом, то пособляйте по дому.

Отец, немного отдохнув после дежурства, закуривал, усаживался на седуху возле окна — на свое обычное место — и, если дело было зимою, подшивал валенки. Время от времени, когда мы от шума уже плохо слышали друг дружку, он поглядывал на нас и взглядом говорил, что уgomониться бы маленько надо. Но если дело доходило до полотенца, он откладывал неподшитый валенок и несердито, но укоризненно говорил:

— Да велик ли ум-от у них? Ну, поиграют, пошумят да и перестанут, — и принимался свертывать сигарку с ученическую ручку величиной, только раза в три толще. Закуривал и брался за отложенный валенок.

Отец курит, попыхивает, а табак-самосад пощелкивает, искрами сорит. Прогорит эта сигарка в семи, а то и в десяти местах и делается похожей на флейту. Одну сигарку докурит отец — маленько погодя другую свертывать принимается. Подол рубахи у него всегда был в дырочках от табачных искр, и мать — не понимали мы, в шутку или всерьез, — обещала заказать отцу рубаху на завод, железную.

Улица наша зимой напоминала длинный, казалось бесконечный, снежный коридор. По обочинам железнодорожной линии вырастали высокие снежные наметы. Они тянулись непрерывной грядой и вместе с линией уходили вдаль. У подножия железнодорожной насыпи

в глубине отсверкивала полозновицей неширокая ежж-лая дорога. От нее к каждому двору, пробиваясь в гл-убоком снегу, ползли узкие, как траншеи, прогретенные тропинки. Дома заносило снегом по самые окна, а иные — и того выше. Снег рыхлыми папахами лежал на крышах, ватой свисал над карнизами, от него дома делались ниже, приземистей, подслеповато выглядывая на заснеженную, но серую от копоти железнодорожную насыпь.

На улице мороз. На станции сипло кричат паровозы, на заводе машины ухают, деревянные дома потрескивают, и над ними столбы дыма, прямые, застывшие.

А дома теплынь.

Дома печка-буржуйка топится, гудит, пощелкивает. Когда старшие делали уроки, разместившись за большим столом, мы пристраивались тут же и играли в школу. Отец приносил нам с работы старые, использованные корешки накладных. Они были как тетрадки, только поменьше, и одна сторона вся в цифрах да в названиях, зато другая сторона чистенькая — беленькая или голубенькая. Каждый из нас своей половинкой карандаша учился писать буквы. Но буквы писать скоро надоедало, и мы писали сразу слова, как взрослые пишут, писали неправильно, конечно, но мелко и быстро. Потом рисовали или играли в «пешки».

Нинка с Васюткой к столу не лезли, у них есть катушки из-под ниток, снизанные на шнурки, да спичечные коробки — и они довольнехоньки. Если надоедали им коробки да катушки, малыши переворачивали табуретки кверху ножками, двигали их по полу, пыхтели и свистели: они тоже играли в паровозы.

А еще в зимние вечера мы рассаживались поближе к свету и вязали носки и варежки, чинили одежонку, а то стезили одеяла или расшивали филейные скатерти и

шторы, для себя и в люди. Парни, засветло управившись во дворе, усаживались подле отца, помогали ему — делали деревянные шпильки, прошивали стельки или тянули с нами дратву.

Антон засиживался за уроками дольше других, и только потом, без особой охоты, но и без понуканий, тоже подсаживался к парням.

Все за делом — и всем хорошо. Пели песни или мать рассказывала про свою жизнь. Как она тоже маленькой была и тоже озорничала. Она хорошо, интересно рассказывала, только мы всё это воспринимали так, будто говорит она о ком-то другом: девчонкой свою мать представить мы не могли.

Отец слушал, попыхивал сигаркой и помалкивал.

Мы тоже помогали ему — делали дратву. А она тем лучше, чем длиннее, значит, тянем мы нитки через всю избу. Напутаем, бывало, дратвы, как тенета, мешаем друг дружке, потихоньку вредничаем.

Но как ликовали мы, когда слышали отцовскую похвалу! Хвалил же он нас на свой лад:

— Вот варнаки-то где! Вот изладили дратвы так изладили! Большому так не изладить — ровненькие, навощенные... Вот варнаки!..

Мы от радости с ноги на ногу переступали, едва сдерживались чтобы не зашуметь, и после делались необычно дружными, тихими и гордыми.

Приходили соседки, приносили разношенные, с дырявыми подошвами валенки.

— Елизарович, подшей, пожалуйста. Да поскорее бы...

— А эти, если можно, так изнутри...

Отец принимал валенки, осматривал, примеривал подшивку, складывал все это в угол и, маленько помолчав, говорил:

— Ладно, излажу.

Тогда соседки присаживались и глядели на нас, на ораву. Если заставляли нас за делом, то хвалили, говорили, что помощники вот подрастают. Если же мы бегали по избе, дурили, то они сочувственно спрашивали:

— Ох, Елизарович, и как только вы живете? Ребят-то у вас — как шишек на елке. Накормить всех надо, обусть...

Отец потихоньку, в себя, улыбался и вроде как шутливо отвечал:

— Да что, живем вот... Иной раз подумаю — так хоть не живи, а опять раздумаюсь — так хоть заживись... Живем вот...

Летом, когда наступали короткие ночи и зеленая сочная трава томилась от зноя, отцу переставали приносить в починку расхудившуюся обувь. Под вечер, когда зной спадал, отец выходил во двор, располагался под навесом, сворачивал огромную сигарку, чтоб надольше хватило, закуривал и принимался внимательно осматривать грабли, вилы и литовки, лежавшие до времени на сарае.

Мы тоже тут. Делали клинышки, строгали зубья к граблям или просто мешали отцу. Но он не ругался, попыхивал своей «флейтой» и учил, как надо стеклышком полировать зубья.

Управившись с делами по хозяйству, утомившиеся за день, добрые соседки направлялись по вечерней прохладе к нам. Они присаживались на крашенные ступеньки крыльца, разговаривали с матерью и, повременив, спрашивали отца:

— Елизарович, когда косьбу начинать думаешь?

Отец молча докуривал сигарку, поднимался с чурбака, стряхивал с коленей табачные крошки и стружки, ласково щурясь, всматривался в небо и уходил в огород. Там он ходил по меже, мял в пальцах какую-то траву, иной стебелек срывал и брал в рот, останавливался, о чем-то думал и возвращался из огорода.

Соседки замолкали, выжидательно и доверчиво глядели на отца.

— На исходе недели зачинать стану.

Соседки согласно кивали головами, прощались и уходили.

Каким-то крестьянским мудрым чутьем угадывал отец нужное время и в стога метал сухое зеленое сено.

Перед страдой он ходил в баню, жарко парился. После, чистый, светлый и благодушный, шел в церковь, куда ходил два раза в год: перед сенокосом и после него. Вечером маленько выпивал и, исполнив этот извечный свой обряд, на другой день еще до свету уходил на покос.

В последнее перед школой лето меня часто оставляли домовничать. Все старшие на покосе. Дома со мной Галка, да Нинка с Васюткой — вся малышня. Васютка лежит в зыбке, сестренки по полу бродят, из шалей да из полотенец кукол делают. Я в избе прибираю, все по углам расталкиваю, чтоб на середине порядок был.

Прибрала так однажды и пошла с чайником по воду. Прихожу и вижу: стоит Галка на табуретке перед зыбкой, листочки от березового веника обрывает и Васютке в рот толкает. Толкает и наговаривает:

— Вася ты Вася, есть ты хочешь, да грудя-то у меня нету.

Тут и Нинка с табуреткой тащится к зыбке. А малый лежит, листочки выплевывает, ножонками прядает и плачет, заливается во весь дух. Галка зыбку трясет. Нинка смеется. Рассердилась я на них поначалу, посмотрела в упор, не мигая, как это мама делает, когда сердится, потом кинулась к зыбке и стала напевать, успокаивать Васютку. Парнишка уgomонился, девчонки развеселились. Галка в зыбку забралась и давай раскачиваться, как на качелях. А палка-то — оцеп, — на которой зыбка подвешена была, скрипела, скрипела да и переломилась.

Упала зыбка. Пуще прежнего заревел Васютка. Заревели и мы в голос. Поревели, поревели и успокоились, стали зыбку по избе катать.

И вдруг...

Вдруг открывается дверь: покосники пришли. Мать корзину с грибами на лавку сунула, к малому кинулась, гладит его, ощупывает, не повредил ли чего. А он воркует, смеется, ручонки к матери тянет.

С тех пор меня за старшую не оставляли. Домовнича-ла Ольга. Она умела и хлеб испечь, и со скотом управиться.

А на покосе еще лучше: раздолье, птицы поют, речка на перекатах журчит, будто хохочет, как наш Вася-маленький.

Идти только далеко, да еще через гору. Но я не жаловалась. Отец подбадривал меня:

— И ведь мала девка, а бежит ходко, вперед всех! Ну и помощница! Ну и умница!

Я от радости не знаю что бы сделала! Забегаю вперед, подпрыгиваю, останавлиюсь ягод шиповника нащипать на бусы, приотстану да пуще прежнего бегу, а сама про себя думаю: «Вот какая я бойкая да сноровистая!» И от одного этого мне так радостно, что даже в груди маленько побаливает.

Отец на покосе делается каким-то необыкновенным, бодрым, вроде даже молодым. На нем белая рубаша навыпуск, ворот расстегнут. Ветер рубаху на спине пузырем надувает, волосы пошевеливает. А отец косит да косит, широко расставив ноги, далеко за спину замахиваясь косой. Ж-ж-жить, ж-ж-жить — валится скошенная трава и поблескивает на солнце срезам. Запах такой, что голова кружится. Отец косит, косит и вдруг позовет:

— Клanya, гляди-ко, какой тут варнак сидит! Едреный! Забирай-ко его в корзину.

Я приседаю перед красноголовиком, срезаю его, а рядом еще один, еще. Отец улыбается, радуется моей радости и высматривает, нет ли где еще грибов поблизости. К вечеру так, незаметно, и набирали мы с ним полную корзину.

Перед закатом солнца наваливался гнус, и тогда отец снова завертывал большую сигарку, дымил ею, попыхивал как паровоз и косил да косил, неходко, но податливо.

Однажды день был знойный, сено сохло хорошо. Отец остожье для зарода готовил, парни копны таскали, Антон сено из кустов вытаскивал, мать сухое в копны сгребала, а мы с Ленкой ворошили сено в валках где граблями, где руками. Под вечер собирались метать. Но вдруг кругом заволокло, тучи по небу заходили, темные, низкие, ветер подувать начал. Мать заторопилась, тоже копны таскает. Отец заспешил было, да остановился, пошарил в карманах, пошарил, потом сел и сидит. Мать к нему:

— Чего расселся? Торопиться надо! Замочит сено-то...

— Курева нету.

— Ну и потерпи маленько. Гляди вон, тучи! Метать надо...

— Я те говорю, курева нету.

Знала мать отцовскую натуру, не стала упрашивать, уговаривать его, а побежала на соседский покос:

— Малафеевич, дай завертки на две табаку. Метать надо, а сам-от сидит — «курева нету!» — передразнила мать.

— На, на, Архиповна. Без табаку, и верно, Елизарович не работник...

Закурил отец, повеселел, потом старательно загасил сигарку, припрятал за ухо окурок и принялся метать сено.

Хорошо на покосе.

Но совсем другое дело, когда отец заканчивал страду и приплавливал сено. Тогда уж мать ублажала его как

только могла, сама за вином бегала, угощения перед отцом всякие ставила.

Отец опять парился в бане, опять отправлялся в церковь. Потом, улыбаясь и оглаживая усы, садился за стол, с чувством пил вино, закусывал и разговаривал с нами. Но хмелел отец быстро, глаза его наполовину закрывались. Он подпирал щеку рукою и заводил свою любимую протяжную песню:

По сере-е-ебряной реке-е-е-е-е,  
Да во злато-ом песо-очке-е-е-е...

Мать тут же начинала готовить постель. Знала она: запел мужик — значит, все, готов и вот-вот успокоится в глубоком сне.

Плавить сено по Комасихе — дело трудное и рисковое. Но вывозить его зимой на лошадях через гору — тоже не легче. Надо лошадей в горкомхозе хлопотать, потом дорогу прогребать, сено к дороге вытаскивать. Да и дрова на зиму заготавливать все одно надо. Вот и плавил отец сено по реке.

Покос наш выходил к Комасихе одной ложбиной. Травянистая и веселая, она пологим спуском выбегала на камешниковый берег, поросший осокой, копытником, диким луком да пиканником. Пока пиканы были сочные и мягкие, мы отрывали от них махровые верхушки, сдирали кожуру и ели. К концу сенокоса пиканник твердел. Мы вырезали нетолстые дудки и стреляли из них рябиной, а из дудок потолще делали брызгалки.

Выше ложбины, километрах в двух, Комасиху разделял остров, все называли его Ивановым островом. Один рукав реки, широкий и полноводный, прибойно ударял на наш берег и, обогнув остров, с бурлящим шумом устремлялся навстречу другому рукаву, радостно сливался с ним, будто успел стосковаться в недолгой разлуке. Тут

Комасиха разливалась в широкое плесо и достигала на другом берегу отвесных скал в темных пятнах ельника.

Когда покосники после обеда отдыхали, мы выбегали на обрывистый берег плеса, складывали руки трубой и кричали:

— Кто украл ключи от магазина?

— Зина... Зина... Зина... — отвечало эхо, отскакивало от скал, западало в ельниках и терялось в далеких синих горах.

— Кто была первая дева?

— Ева... Ева... Ева...

Мы, затаив дыхание, слушали, как истаивало, умирало эхо.

И еще часто мы усаживались на этом берегу перед закатом солнца, глядели. Спокойная вода то в одном, то в другом месте расплывалась кругами: это кормились и играли щуки и хариусы. А ближе к берегу живыми серебряными серпиками выскакивали из воды ельцы, сверкали в воздухе, хватали зеленоватых мошек и булькали в воде. Табуны мошек легким газовым платком то опускались низко над водой, то взмывали, столбились, кружили высоко в воздухе, будто поднятые ветром, и снова медленно оседали.

Дальше Комасиха текла, как и всякая горная река, то тихо, почти сонно, то шорохтела камешником на перекатах — а перекатов, больших и маленьких, на ней было множество, — то с силой наваливалась на податливый берег, подмывала яр, мутнела от осыпающейся глины и усмирялась.

В одном месте Комасиха делала унырок.

Может, в весенний разлив, может, от повального ветра налегла она когда-то на скалистый берег, промыла под камнем себе дорогу и теперь почти вся в этом месте с шумом, будто очертя голову, уходила под скалу, скры-

валась во мраке. Может, она там и билась о каменные глыбы, ворочалась, редела и изгибалась в неволе, но на свет река показывалась прозрачная и спокойная, приминала в себя неширокую излучину и катилась дальше. Ходили слухи, будто немало Комасиха подхватывала зазевавшихся или не очень сноровистых пловцов и вместе с лодками, и даже с плотиками затаскивала под скалу, так что обратно они уже не выплывали. Все могло быть, потому что иногда выныривали из-под скалы обломки жердей, ошепье разное. Кружились, уходили под воду, снова всплывали и, когда попадали в русло, устало, успокоенно покачивались на воде и исчезали вдали.

На Ивановом острове был шалаш, крытый ивняком и осокой. Летом в нем жил Иван-заика. Он охотился, плел лапти и корзины, рыбачил, валил и разделявал на дрова сушняк.

Видела я Ивана-заику только однажды, когда первое лето стала ходить с нашими на покос. Был он сутуловат и сонлив. Но отец утверждал, что Иван-заика только с виду такой, на самом же деле у него ума и силы на двоих хватило бы. Рассказывал, как Иван помогал ему грузить на плоты сено: поддевал на деревянные трезубые вилы не какую-нибудь охапку, а сразу копну — черен у вил прогибался — и нес навильник перед собой на вытянутых руках, как физкультурники на праздниках знамена носят.

Помогал он отцу и плоты собирать. Подберет бревно к бревну, чтоб гнилые не попали или пустотелые, потому как плоты эти шли в хозяйстве не только на дрова, а и на дело: баню ли подрубить, либо у стайки нижние бревна сменить, сруб ли для овощной ямы соорудить. Иван-заика, когда скреплял плоты поперечинами, гвозди вбивал так, что шляпки впивались в плахи. Однако отец осматривал плот и все-таки стучал обухом топора по

этим шляпкам: для пущей надежности. Иван-заика видел это, но на отца не сердился. А отец и дома так: приколотят парни к сапогам набойки на каблуки — шляпки в кожу войдут, — а он смотрит работу и все равно стукнет раз-другой. Парни иногда обижались, но чаще посмеивались над отцом.

Летом я видела Ивана-заика в первый и в последний раз, потому что зимой он скоропостижно умер. Сушняка к этой поре на острове почти не осталось. Заготавливать лес на плоты приходилось все дальше. И силы у отца заметно поубавились: успел, видно, надорваться с плотами.

Ленька рассказывал, как плавил однажды с отцом сено.

На каждом перекате отец бродил в студеной воде, сталкивал плот с отмели. В одном месте даже сгружать сено пришлось, потому что плот осел низко и столкнуть его отцу было непосильно.

Когда доплыли до унырка, отец велел Леньке убираться с плота, бежать по берегу, а сам натужился из последних сил и перетаскивал плоты по кромке воды, чтобы течением не затащило в унырок. Когда миновал стремнину, причалил к берегу. Закрепив плоты за мертвяк, отец долго лежал с закрытыми глазами на желтоватой жесткой траве и тяжело дышал. Мокрые штаны и рубаха облепили тело и, казалось, еще больше затрудняли дыхание, кожа на руках и ногах сделалась дряблою и покрылась мелкими белыми морщинками, взбухшие вены на шее медленно расслаблялись.

Немного отдышавшись, отец разделся донага, выкрутил штаны и рубаху, вздрагивая всем телом, натянул сырую одежду и попросил Леньку свернуть ему сигарку. Закурил, огладил мокрые усы, посмотрел на реку, на плоты, мельком взглянул на Леньку и сказал:

— Ну, слава богу, теперь доплывем. Гляди дак еще засветло успеем. Опасаться боле нечего. — Помолчал, докурил сигарку, вдавил окурок в землю. — Больно-то дома не болтай. Мать и так беспокоится. Если озяб, дак бежи пока берегом. Согреешься — и тогда уж на плот...

Мать за свою жизнь настолько изучила характер и норы отца, что знала загодя и наверняка, как и когда с ним надо обходиться.

Вот в огороде копать подоспело. Старшие в школе, да и домой им уроков помногу задают, мы — помощники незавидные пока. Так мать к этой поре всегда бражку ставила. Подгадает, когда у отца два выходных кряду, угостит его бражкой, хорошо закусить даст, все честь честью сделает, а затем маленько его рассердит.

И все.

Уйдет отец в огород — не докличешься. Половину огорода вскопает — и хоть бы что. Копает, сигаркой дымит. Рубаха на крыльцах потемнеет от пота. Обедать пора, а он и ухом не ведет. Мать всех нас по очереди посылает звать отца. А он — как не слышит, копает себе да копает и никакого на нас внимания. Остановится, свернет сигарку и дальше пошел. Сердится отец.

Явится, уж когда мать сама уговорит его пообедать...

Еще одна история часто приключалась у нас. Усядемся, бывало, за стол, начнем есть, и тут кто-нибудь из старших ткнет другого в бок и покажет на оттопыренный отцовский палец, смешно торчащий кверху. Тот не удержится, захихикает, за ним Ольга — это уж обязательно! И пошло. Мать смотрит-смотрит да и турнет из-за стола того, кто первым начал. За ним и Ольгу. А мы уж сами уходим гуськом из-за стола, не в силах удержаться от нахлынувшего не ко времени смеха.

Отец, оставшись за столом с матерью да с малышами, посмотрит на нее и тихонько скажет:

— Ну вот, теперь свободно, ешь...

Мать не выдержит: или заругается, или заплачет. Тогда мы снова садимся за стол и едим уже молча.

А как я любила ходить с отцом по малину! Встанем рано, почти до свету, соберемся тихохонько, наедемся молока с хлебом и отправимся. Лапти отец сплел мне маленькие, аккуратненькие. Они, когда идешь, чуть слышно поскрипывают, и ногам в них легко и удобно.

Отец — с берестяным туесом, вставленным в кошель с лямкой, а я — с чайником, большим, голубым, на бочонок похожим, в котором воду носила. Крышка к чайнику привязана. Заберемся в малинник и собираем ягоды. Крышка потихоньку позвякивает, ягод в чайнике все прибывает да прибывает.

Жарко. Пить хочется. Но я помалкиваю. Жду, когда спустимся к речке обедать. На обед у нас по куску колотого сахара и хлеб. Отец встанет на колено подле воды, в одной руке сахар, в другой хлеб. Макнет сахар в воду, откусит. Я так же делаю. Еда — лучше не придумаешь. После еды, я уж знаю, отец свернет сигарку, закурит и в чайник ко мне заглянет. Заглянет и улыбнется:

— Вон девка-то у меня! Вон она сколь набрала!..

И дома потом так же рассказывает:

— Вон девка-то сколь набрала. Руки у ней маленькие, а проворные! Берет и берет... Ведь мала еще, а старательная. Купить ей надо галоши, — однажды пообещал он и, уже обращаясь ко мне, утвердительно добавил: — Вот во школу пойдешь — и купим.

Я и без того не могла дождаться, когда в школу пойду, старшим завидовала. Уж очень мне хотелось учительницей стать либо портнихой. Вот уж представляю, как учительницей стала, красивая, высокая. Голос у меня громкий. И ребята все смотрят на меня, удивляются

да любят. Хожу я по классу, в тетрадки к ученикам заглядываю, замечания делаю. Затем на доске мелом пишу быстро так, правильно. Или рассказываю что-нибудь интересное. Рассказываю, рассказываю и сама себя заслушаюсь: так хорошо да складно все у меня получается...

И в этот самый момент слышу:

— На што ей галоши? Ботинки починил — и ладно. Мала еще...

Я от обиды забралась тогда на печку, на отцовскую постель, и тихонько заплакала. Но меня никто не искал, никто не успокаивал, я поревела-поревела да и покинула свое убежище.

Однако галоши мне все равно купили, черненькие, блестящие. Ходить в них пока еще не разрешали — сухо, и я заворачивала галоши в тряпицу, на ночь клала в изголовье и нарочно шевелилась, чтобы слышать, как они поскрипывают и как от них незнакомо и очень приятно пахнет.

Как-то утром проснулись мы, глядим в окно — а там снежок беленький лежит на земле. Красота! Соскочила я быстрехонько, собралась и отправилась в школу в новеньких галошах, даже завтракать не стала. Иду, шагаю по снегу, а на нем следы остаются, в клеточку. И думаю: все узнают, что тут я шла, что это мои новенькие галошки такие узоры на снегу оставили.

Только не повезло мне с этими галошами. В школе на большой перемене все выбежали в коридор. И я выбежала. Не сидеть же мне в классе в новеньких-то галошах! У других они старые, тусклые, а у меня блестящие, первый раз надетые. И придумали же игру: кто дальше скинет с ноги галошу или тапочек. Стали играть. Вот и моя очередь настала. Сердце замирает, радуется и пугается, не потерялась бы моя галоша. Утвердилась я на

одной ногое, другую отвела назад и со всего маху запустила...

Недалеко моя галоша улетела, в уборщицу попала. Та заругалась, подняла галошу, спросила: «Чья?» — и унесла в учительскую.

Сердце мое так и упало. Сажу на уроке, молчу, почти не слышу, что учительница говорит, про галошу думаю. После уроков учительница отдала мне галошу, но сказала, чтобы завтра я привела с собою мать. Услышала я это и онемела: ведь даже из-за братьев мать в школу не вызывали...

Уж не так радостно поскрипывали да бежали мои галошки домой. Матери дома не было — отлегло маленько. Уроки сделала, посуду вымыла, и еще бы что-нибудь делала, только бы мать не узнала про галошу. Ребята из школы пришли — ничего не говорят: не знают еще, что со мною приключилось. Скоро и отец с работы пришел. Все пока идет хорошо. Мать вернулась из магазина. Стали обедать.

И только я есть принялась, мать и начала. Она, оказывается, встретила нашу учительницу на улице, и та ей все рассказала.

Отец ничего не сказал, только чуть наклонил голову и не то тихонько улыбался, не то вздыхал.

Мне было очень жалко отца...



РУЧЕЙ  
ТАК  
БУШЕВАЛ...

**П**о одну сторону дома была ограда, просторная, всегда прибранная. В глубине ограды — навес. Рядом с навесом в стайке жила корова.

По середине огорода протекал ручей, быстрый и холодный. На той половине огорода, что примыкала к дому, мать сеяла морковь, садила огурцы, репу и другие овощи. Гряды были ровные, неширокие и тянулись до самой бани, приютившейся возле ручья, в конце огорода. За стайкой были две гряды покороче — на них отец сажал табак.

Намывшись в бане и пробегая бороздкой к дому, мы очень любили вырвать за космы морковину или репу, обшоркать с нее землю ботвой и, не заходя в избу, схрумкать холодную и сочную овощ. Ни в какое другое время морковь и репа не казались нам такими вкусными, как те, которые мы с хрустом и опаской жевали после бани, корчась и приплясывая на ветру.

По другую сторону ручья, за черемухами и тополями, росла картошка.

Ручей в огороде — это, конечно, очень хорошо и удобно. Из него мы брали воду на поливку, на мытье и на стирку. Правда, весной ручей разливался широко, и дорога в этом месте делалась на время непроходимой. Разлившаяся по ледяному дну снеговая вода была до того прозрачна, что казалась голубой. Из нее то тут, то там дыбились снежные пирамиды — остатки сугробов. Как островки на географической карте, они цепочкой тянулись от нашего дома до Стрижовых — соседей по другую сторону ручья. Если внимательно приглядеться, то пирамидки эти напоминали крохотные айсберги, сахаристо отливающие в тени и ослепительно сверкающие на солнце.

День ото дня они делались все меньше, ниже, будто оседали, проваливались в тартарары.

Весеннее половодье бушевало недолго. Вода скатывалась, и ключ втискивался в свои крутые бережки. Но плохо бывало летом, когда после ливневых дождей ручей этот дичал, разливался вширь и затоплял гряды.

Однажды этот ручей наделал особенно много беды. Лето в тот год стояло теплое, сухое, дожди перепали редкие и короткие. Мы играли на поляне перед нашим домом в «чижики». Солнце палило несносно, и камешниковая насыпь возле линии отдавала жаром. Вдруг небо сразу будто упало и придавило землю. Вокруг стало сумеречно и тихо. Ветер рванул и разом стих. Сделалось до того темно и жутко, и мы так оробели, что на какое-то время замерли.

Первым опомнился Генка Стрижов, самый смелый из нас. Прищурившись, он поглядел на небо и ринулся к нам в ограду, под навес. Мы опрометью бросились за Генкой, расселись на бревна, скатанные к стайке.

Ветер снова поднялся, даже не поднялся, а налетел вихрем и понес с грохотом и воем все: мусор, ветки, банки, бумагу какую-то. На деревянной крыше навеса тоже начало шорохтеть, и тоже понесло с нее всякую мелочь. Навес над нашими головами скрипел, надувался и казалось, он вот-вот подыметесь и полетит, помчится, как ковер-самолет, не разбирая пути-дороги. За оградой, высоко подпрыгивая, мчалось старое ведро, кружились в воздухе щепки, тряпки, пух, тучами металась пыль.

Куры содомно квохтали, громоздились все на один насест, и то одна, то другая срывалась вниз, заполошно хлопая крыльями. Сорвался и петух. Угодив между бревнами, он хрипло, с надрывом прокукарекал, выпростал застрявшую лапу, поводил головой из стороны в сторону, будто хотел убедиться, не смеются ли над ним хохлатки. Курам было не до смеха. Петух, прихрамывая, отошел к двери стайки и затих.

Хлынул дождь, тяжелый, плотный и отвесный, как стена. Он шумел, дико бился о землю, о забор, свирепо барабанил по железной крыше дома и все набирал и набирал силу. В ограде уже начали скапливаться мутные лужи. Они быстро наполнялись, делались шире, глубже, почти достигали уже забора и стены сенок, возле которых окаемом зеленела, топорщась остренькими вершинками, невытопанная трава.

Мы очень любили после дождя носиться босиком по лужам, с визгом и хохотом бегали по теплой воде, разбрызгивая ее. Но сейчас мы смотрели на эти лужи со страхом, потому что дождь все еще хлестал как из ведра и переставать не собирался.

Небо постепенно светлело. Генка запрокинул голову, сморщился, опять всмотрелся в небо, почесал бородавку над глазом, не удержался и ринулся из-под навеса. Но, не добежав до середины ограды, вернулся. С него, как с водяного, стекали струи.

Забежав под навес, Генка с разбегу запрыгнул на чурбак, ладошками провел по стриженной голове, потом выкрутил подол рубахи, прошелся ладонями по штанам от бедер до щиколоток, выпрямился, посмотрел в огород и ахнул:

— Ох ты! В огороде-то! Ручей-то!..

Мы тоже повскакали на чурбаки и, цепляясь друг за дружку, приподнимаясь на цыпочки, глядели через забор в огород.

В огороде делалось такое!..

Ручей бушевал как могучая река. Из него выбуривали мутные водяные валы и раскатывались по огороду все шире и дальше. Вот затопило все борозды и начало заливать гряды. Вода все прибывала. Она уже разлилась большим озером, и некоторые валы достигали заливов дома. Вокруг черемух и тополей завихрялась ко-

ричневая, как брага, вода. У тополей подрагивали стволы, будто от холода, рябили листья, но они держались стойко и прямо. А черемухи скоро обессилели, клонились все больше, все ниже опускали свои зеленые гривы по течению.

Вода прибывала так быстро и так буйствовала, что уже крутыми валами гуляла от забора к забору, заливалась в выдавленное окно бани, скрыла завалины дома.

У нас захватило от страха дух. Галка хотела переступить с ноги на ногу, но соскользнула, полетела с чурбака и угодила прямо в воду. Оказывается, пока мы глядели в огород, вода и тут появилась. Она уже накатила под навес, разлилась до чурбаков. Это что! Вода журчала у дверей дома, процеживалась меж дверных досок и шумно переваливалась через порог.

— А дома-то мама да малышня... А в подполье-то!.. — в ужасе прошептала я.

Генка, не долго раздумывая, снова ринулся под дождь, добрел до дверей в сенки, навалился плечом, чтобы открыть, да не тут-то было! Вода подняла половицы и подперла двери в избу и на улицу.

— Ох ты! — закричал Генка, вброд возвращаясь под навес. — Чего же делать-то?

— И папка на работе. И парней дома нет, — отозвался наш Ленька. Он тут же что-то сообразил, уселся на чурбак и стал разуваться. За Ленькой начали разуваться и мы. Скидали на сеновал сандалии, тапочки, ботинки и стали пережидать дождь.

Дождь редел. Даже солнышко проглянуло. Мы развеселились, подобрали подола, парни закатали штаны, сцепились все крепко за руки и, покрываясь гусиной кожей, цепочкой двинулись по холодной воде в огород, к кухонному окну. Генка брел первый, за ним Ленька, за Ленькой Лизка и Танька Исуповы, наши подружки,

а за ними уж мы с Галкой. Пока шли по ровному, смеялись и брызгались водой. Но скоро начались борозды и гряды, все стали то и дело оступаться и падать. Галка наша да Танька захныкали, обратно запросились. А до ворот было уже дальше, чем до окна. Генка Стрижов цыкнул на них и, дрожа посиневшими губами, уверенно повел нас к дому.

Очень мы обрадовались, когда выбрались на зава-linkу, как зайцы на островок. Стали по очереди заглядывать в кухонное окно.

С печки высовывалась светлая Васюткина голова и свешивались босые Нинкины ноги. Мать, придерживая юбку, всплывающую на мутной воде, бродила по избе, сбрасывала на печь постель, опрокидывала на кухонный стол табуретки, чугуны и все оглядывалась по сторонам да сокрушенно качала головой. Увидев нас, мать обрадовалась, но тут же чего-то испугалась, стала кричать нам, маячить. Мы не могли сквозь стекло разобрать, что говорила она нам. Тогда мать распахнула створку и распорядилась:

— Галка и Танька, полезайте в окно и забирайтесь на печку, к ребятишкам. Генка и Ленька, бредите обратно к сенкам.

Она подала им клюку и велела просунуть ее в притвор двери, чтобы осадить половицы.

Мы с Лизкой тоже влезли в окно, взяли ведра и принялись вычерпывать из избы воду.

На линии толпился народ. Все смотрели, как плавает наш дом, что-то кричали Генке с Ленькой, махали руками.

Когда парнишки добрались до дверей в избу и распахнули ее настежь, мать похвалила их и велела нести сухих дров. Галка и Танька слезли с печки и стали помогать нам выскребать нанесенную грязь из-под столов

и из-под кровати. Ленка с Генкой стали вытаскивать ведрами грязь да в этих же ведрах носить нам на мытье воду.

Мать растопила печку, вымыла руки, сбросала сухую одежку, чтобы мы переоделись. Пока мы разбирались кому что надеть да передевались, на столе уже был нарезан хлеб, кучкой лежали деревянные ложки, пегие от сносившейся краски, стояла большая чашка исходившего паром супу.

Тем временем воды во дворе почти не осталось, трава оправилась, затопорщилась и зазеленела пуще прежнего.

Когда пригнали из лесу стадо, корова наша долго выщипывала самые сочные травинки и после с большой неохотой убралась в стайку.

Из огорода вода уходила медленно и страшно. Она уносила с собою землю вместе с посаженной картошкой и овощами.

Утром отец сходил в огород, вернулся угрюмый, посидел на табуретке, посмотрел на нас, разметавшихся на просторной постели, на мать, в раздумье похлопал себя руками по коленям и спросил:

— Чего же делать-то будем, мать?

Мать посмотрела в окно, вздохнула, утерла передником глаза и ушла на кухню.

Когда отец снова вышел на улицу, я толкнула в бок Галку. Галка дотянулась через Нинку и ткнула Ленку. Все тихонько приподнялись, поглядели в окошко и обмерли: там, где еще вчера, распирая землю, топорщились крепкие картофельные всходы, бархатистой щетиной зеленела морковная грядка, пунцовыми корешками отсвечивали молодые свекольные всходы, — ничего не осталось. Огород весь был вывернут наизнанку. Между

уцелевшими темными пятнами земли холодно серели оголившиеся каменистые плешины. И нигде никаких признаков растительности, кроме тополей, стоявших по-прежнему прямо, упиравшихся вершинами в небо, да черемух, измученных, растрепанных и ободранных. Сильные черемуховые ветки, стряхнув с себя ил и мусор, уже воспрянули и шелестели поврежденным листом. Другие, согнувшись в дугу, все еще безвольно полоскали свои гривы в мутном потоке переболтанного ручья.

А ручей журчал, светлел и бежал еще быстрее и радостнее, сверкая на солнце перекатными бугорками.

Ох как трудно нам пришлось в тот год!

Ведрами и на тачках таскали мы землю с Жучихиных ям, где когда-то был отвал и сейчас получился хороший перегной. Помогали нам все соседи: и Стрижовы, и Князевы, и Исуповы...

Мать благодарила их, а нам в который уж раз наставительно говорила:

— Робыта, когда вырастете большие, своим хозяйством жить станете, дак помните пословицу: «Не живи с суеками, а живи с соседями».



**КОЛДУНЬЯ**

**П**ятистенный князевский дом мало походил на другие дома. Он скорее напоминал крепость или тюрьму — так мне казалось. Дом большой, двор крытый, темный. Окна были маленькие и подслеповато поблескивали высоко над землей. В трех из них, обращенных в сторону оврага, играло закатное солнце, и тогда стекла в окнах загорались и долго полыхали загадочными красно-фиолетовыми огнями. Не знаю, как другие ребята, а я не любила глядеть на эти полыхающие князевские окна.

Однажды тетя Тина Стрижова, тетя Нюра Исупова, наша мать и Князиха ходили по грибы. И тетя Нюра рассказывала потом:

— Ходила, — говорит, — я, ходила, всё грибы собирала, и не заметила, как утянулась в сторону, заблудилась. Покричала, — говорит, — покричала — никто не отзывается. Тогда стала продираться сквозь пихтовник, через лог, где, если по солнышку судить, — дорога... Не успела, — говорит, — еще выбраться из лога, как увидела: стоит Князиха и тихонько разговаривает с каким-то незнакомым мужиком. Глянула на мужика этого и чуть ума не лишилась: до того мужик тот страшен был, до того худ да длинен, что голова его поверх елок маячила. А голос у мужика, — говорит, — громовой, раскатистый ноги. как ходули, прямые да толстые, рубаха на мужике красная и огнем отсвечивает... Выворачивает, — говорит, — мужик свои карманы, огромные, как мешки, и выкладывает из них грибы в корзину Князихе!..

Тетя Нюра, рассказывая об этом, для убедительности нешибко стучала себя кулаком в грудь — мол, не вру, — опасливо озиралась по сторонам и торопливо божилась, осеняя мелкими, суетливыми крестиками широкоскулое лицо.

— Вышла, — говорит, — я на дорогу, постояла, еле в себя пришла. Маленько погода бабы на дорогу выходить

стали, расселись в тени передохнуть да по куску съесть перед дорогой. Я, — говорит, — подальше от Князихи уселась, не разговариваю с ней, только со страхом поглядываю на ее полнехонькую корзину, хотя посудыны у всех были полны грибов. Посмотрю — и еще дальше отодвинусь. И домой когда возвращались, все впереди шла да все на Князиху оглядывалась.

И решила тогда тетя Нюра, что Князиха — колдунья! И иначе, как колдуньей, ее с тех пор не называла.

Дурная слава о Князихе разнеслась быстро. И кто знает, может, тете Нюре все это померещилось, но с ее легкой руки и другие соседки стали за глаза Князиху колдуньей звать, хотя не сторонились ее, как тетя Нюра.

Но случилось все же так, что и мы с Князевыми больше не жили по-соседски, хотя и дома наши, и огороды были рядом. Правда, дядя Володя иногда заметит отца в огороде, затолкает кисет да трубку в карман и направится к нашему забору. Какое-то время он разговаривает с отцом на расстоянии, потом молодецки перекинет через прясло одну ногу, другую — и шагнет по меже в борозду. Усядутся они рядышком на крыльце или под навесом, покуривают. Дядя Володя трубкой дымит, отец своей огромной сигаркой, тихо беседуют, время от времени поглядывают на небо, на горы, на реку Комасиху, стылой полосой видную вдаль, и опять сидят да попыхивают.

Если говорить по правде, то Князиха нас, ребятишек, и прежде не очень любила, ругала чаще. И в доме у них мы бывали редко: когда Князиха надолго уходила или уезжала. Да и невесело, сумрачно как-то было у них в доме, пустынно, прохладно, темно, словно и не жили в нем вовсе.

Перед домом Князевых была широкая ровная поляна. Она раньше всего вытаивала и зеленела. На этой поляне мы часто играли в «бить — бежать» или в «матки». Мячик

то и дело залетал к Князовым в палисадник, плотно загороженный с улицы крашеными досками от разобранных товарных вагонов и воспаленно краснеющий среди других заборов.

Иногда за мячом бегала Верка. Князиха Князихой, а с Веркой, темноволосой худенькой девчонкой, мы играли дружно. Верка добрая и услужливая. Но пока она откроет ограду, пока обежит вокруг дома, пока в огороде появится — ждать надоест, и потому чаще залезал в огород кто-то из нас. Перелезая за мячом, мы нечаянно надломили в изгороди несколько узеньких, тонких досок и примяли малинник.

Князиха, увидев нас в огороде, выбегала из дому, грозилась отобрать мяч да еще и крапивой отхлестать.

Но вконец соседские отношения испортились из-за того, что повадилась в наш огород князевская свинья. Мы, бывало, только и слышим:

— Ребята, выгоните-ка свинью из огорода!

— Ленька, князевская свинья по морковной гряде ходит!

— Галка, свинья гряде роет!..

Вот и носимся мы за свиньей по огороду как угорелые. Только выгоним, а она уж опять где-то поблизости хрюкает... Мы ее и камнями, и метлой понуждали, а свинье этой проклятой все равно неймется.

Под вечер дело было. Коров на ночь угнали. Отец вычистил в стойке, распахнул в ней настежь дверь, чтобы проветрилось. Он следил за порядком в стойке и парней к этому приучал. Навоз всегда выкидан, пол подметен, подстилка сменена. На стене два медных ботала висят на ремнях — одно большое, другое поменьше.

И попались же эти ботала на глаза Генке Стрижову. Посмотрел Генка на ботала, звякнул ими раз-другой, бородавку над глазом почесал и сказал решительно:

— Все! Будет дело!

А какое дело — не сказал. Генка ждет, домой не уходит. Мы тоже ждем. А чего ждем — не знаем. Мать досадила капустную рассадку, полила и ушла из огорода.

Нам надоело ждать у моря погоды, и мы начали играть в «лунки». Генка играть отказался, а все похаживал, на князевский дом поглядывал и ждал. Но вечер же: Князиха свою свинью давно уж заперла...

На другой день, прибирая в ограде, вдруг слышим:

— Ребята! Свинья-то всю рассадку вырыла!..

Генка первым ринулся в огород, будто того только и ждал, и уже оттуда приказал:

— Айда за мной!

Мы ринулись в огород, друг дружку топчем, бегаем по бороздам, гряды осыпая — стараемся помочь Генке свинью выгнать. А он вдруг в стайку метнулся, сдернул со стены ботало и опять в огород. И дверь за собой запер.

Мы свинью по огороду гоняем, направляем к двери, а Генка, как бес, рванул через гряды, упал на свинью верхом и — раз ей на шею ботало!

Свинья остановилась, очумело помотала головой. Ботало звякнуло. Свинья шарахнулась в сторону, в одну, в другую, бежит быстрее-быстрее на коротеньких-то ножках. И чем быстрее бежит, тем ботало сильнее брякает. Упадет свинья, соскочит, хрюкнет и опять помчится. Мы хохочем, животы поджимаем. А свинья падает да бежит, падает да бежит... И до того добегала, что брякнулась возле тополей и подняться уже не может. Насилу мы вытащили ее из огорода, поставили на ноги. Она постояла, пошаталась и опять бухнулась. Лежит свинья и глазки закрыла. Мы орем, пинаем, щекочем ее — лежит...

Оттащили ее подальше, сняли ботало и забрались на сеновал — ждать, что будет.

Что было — и вспоминать неохота.

Князиха прибежала, руками машет, ревет, ругается.

— Твои, — говорит, — Архиповна, ребята свинью нашу загубили... Не по-соседски, — говорит, — это... Мы никому худа не делаем... Ваша вон корова тоже житья никому не дает...

Корова у нас действительно была с характером, бодучая, не всех любила и не всех слушалась. Была она доморощенная, то есть не купленная, а выращенная из теленка, еще молоденькая, с красивыми, гнутыми, как ухват, рогами, черная, с белыми пятнами на голове и на боках, да еще кончик хвоста белый.

Звали нашу корову странно — Девкой. Может, за уросливый характер, может, за красоту.

Утром в стадо Девку провожала мать, а встречать ее приходилось нам. Будь наша Девка путней коровой, так встретить ее пара пустяков. Но это ж Девка!

Против нашего дома, за линией, в гору шел переулочек, длинный и прямой. Он пересекал три улицы. Тот, кому подошла очередь встречать корову и загонять ее в стайку, заранее усаживался так, чтобы видеть дальний конец переулочка, заметив стадо, со всех ног помчаться ему наперерез и перехватить Девку, пока она не увильнула куда-нибудь.

И все-таки перехватить ее удавалось редко.

Завидев нас, Девка круто поворачивала в сторону. Коровы теряли курс, шарахались по переулочку, мычали, мотали головами, а когда успокаивались — Девки нашей и след простыл!

Правда, мы уже вызнали некоторые ее лазейки и, попетляв по улочкам, настигали корову на полпути к хлебозаводу. Очень любила наша Девка ходить на хлебозавод, даже больше, чем в лес! Ее на хлебозаводе уже знали все. Сколько раз заставляли мы Девку в окружении

рабочих! Одни гладили ее с восхищением и опаской, заметив острые крепкие рога и диковатый взгляд. Другие совали ей белую булку, а то и пирог. Девка нежадно, осторожно принимала угощение, медленно жевала, прикрывала глаза и за это позволяла погладить себя по крутой гибкой шее или похлопать по спине. Всякий раз великих трудов стоило выгнать ее из ограды хлебозавода и, как вздуревшую реку в русло, направить домой.

Если же удавалось перехватить корову вовремя и гнать домой, все равно приходилось постоянно быть на чеку. Случалось, уже у самой ограды она вдруг улавливала момент, вскидывала рогатую башку, отталкивалась от ворот, как бегун со старта, в несколько скачков достигала князевской ограды и напролом врывалась в чулан. Широким языком она слизывала с ларя шаньгу или кусок хлеба — что ближе лежало, — роняла с лавки кринки или сельницу с мукой, неуклюже разворачивалась в тесном чулане, отфыркивалась, норовисто мотала головой и, удовлетворенная, покидала соседскую ограду.

Характер свой Девка показывала постоянно. Пойдем, бывало, зимой в баню. А баня-то в конце огорода, и дорожка к ней прогребена узенькая. В первую очередь мылись обычно парни, затем мы: Ольга, я и Галка. Потом мать мыла малышей, мылась сама, и последним шел отец. В первый пар он ходил редко, только когда хотел попариться или недомогал.

Мы моемся, отец в стайке чистит. Корова по ограде носится, хвост трубой: застоит, видно, в стайке-то. Голову пригнет так, будто промеж ног затолкать ее норовит, а рога острые ухватом вперед торчат, как у носорога. Скачет Девка, зад подкидывает, веселится.

Только высунемся мы из бани, а иной раз уж до середины дорожки добежим — она тут как тут, будто нарочно дожидалась! Остановится, поглядит на нас своими

оловянными, с ложку величиной, глазами, мотнет башкой и помчится галопом. Мы — в сугроб! Девка пронесется мимо, остановится, постоит маленько — и обратно таким же манером. А мы сидим, колеем в сугробе. И кричать не смеем, потому что она и в сугроб вскочить может!

Если случалось, что отец не успевал приплавить сено по реке и его вывозили зимой, для Девки наступал праздник. Свалят возы в ограде, а коней уведут на конный двор. Пока сено не сметано на сеновал, отец опять выпустит Девку, чтобы порезвилась и сена поела бы на воле.

На нашем покосе в любой год бывало великое множество земляники. Вот мы и ползали по духовитому, шуршащему сену, выбирали засохшие вкусные ягоды. Жует Девка сено, роется, головой от удовольствия мотает и на нас глаза косит. Ленька подальше от коровы по сену ползает, но и он однажды увлекся, забыл про осторожность, припал к сену возле коровы. Девка переступила с ноги на ногу, всхрипнула, поддела крепким рогом Леньку за хлястик пальто и в огород закинула! Мы — врассыпную. Ленька в снегу барахтается. Нам смешно и боязно. А Девка, как ни в чем не бывало, жует да жует сено, выбирает тонкие зеленые стебельки.

...Отец домой вернулся поздно. Мать ему про свинью утром рассказала.

Отец слушал молча. Когда позавтракал, поднялся из-за стола и ушел в огород. Там он обошел изгородь — все исправно. Оказывается, свинья подкопы делала. Заглянул отец в стайку, увидел на полу у порога ботало, повесил на место. А когда вернулся в избу, посмотрел на нас, разом сробевших да смиренных, и сказал:

— На место класть надо.

Вот с тех самых пор и разохлась соседская дружба.



КОСЯ-  
ОКОЛЫШ

**Р**ядом с Князевыми жили Исуповы: дядя Костя, тетя Нюра да Лизка с Танькой. Дядя Костя, или, как его чаще называли, Костя-околош, черноволосый, красивый, еще не старый мужчина. У него небольшой ровненький нос, малиновый и очень аккуратненький, как у красной девицы, рот, а над ним точно две черные капельки — усики. В глазах его, серых и открытых, как в зеркале, было видно: весело ему или грустно.

Давно-давно, когда еще Лизки и Таньки на свете не было, Костя-околош работал в милиции. В ту пору милиционеры разъезжали на лошадях, и работа эта была дяде Косте очень по сердцу. В молодости он служил в кавалерии, привязался к коням и после уж не мыслил без них жизни. Когда лошадей в милиции не стало, дядя Костя уволился и поступил работать на конный двор, старшим конюхом.

Зимой дядя Костя иногда приезжал домой обедать на лошади, запряженной в сани. Завидев его, мы с шумом и криками бежали навстречу, сворачивали с дороги в снег, давали лошади промчаться мимо и, если удавалось, тут же валились в сани. Удавалось это редко, и тогда мы с криками бежали за санями, почти настигали их и норовили упасть на шуршащую солому. Но, не рассчитав, падали мимо. Запинаясь за нас, падали другие. Пока мы барахтались и поднимались, сани уже были далеко. Дядя Костя, обернувшись, смеялся, придерживал коня, и мы, измученные и возбужденные, забирались в сани...

Потом мы терпеливо ждали, когда дядя Костя поест, опять усаживались в сани, ехали до хлебозавода и от туда возвращались пешком, наперебой рассказывая, кто как упал, как уселся, кто кого придавил.

На работе дядю Костю уважали и хорошо ему платили. На радостях он часто выпивал и, возвращаясь с

работы навеселе, все пытался петь свою любимую песню. Голоса у дяди Кости не было вовсе, он просто по слогам резко выговаривал слова песни и отчаянно тряс головой, беззвучно продолжая мелодию.

Н-на-чи-на-ют-ся дни з-за-ла-тые,  
Вар-равс-кой, н-ни-пра-даж-най л-л-люб-ви!..  
Где ж вы, кон-ни м-маи вар-р-ра-ны-я,  
Чер-ны вор-р-ра-ны, кон-ни м-маи!..

Приближаясь к дому, дядя Костя выговаривал слова песни тише, мягче, а подходя к калитке, вовсе затихал, потому что тетя Нюра уже заждалась мужа, не на шутку освиrepела и встречала его у калитки с руганью и кулаками. Она называла дядю Костю шалопутным ишаком, бездельником и паразитом и по-женски несильно пинала мужа, тыкала кулаками в бок, подпрыгивала, чтобы дотянуться до его черных выющихся волос, беспорядочно развалившихся по голове.

Сначала дядя Костя принимал тети Нюрины подзатыльники безропотно, потом начинал увертываться, затем не выдерживал и давал расхोdivшейся жене сдачу.

Мы часто при этом присутствовали и видели, как у тети Нюры постепенно темнели глаза, пальцы стискивались в дрожащие кулаки, а желтоватая кожа на широких скулах белела. И нам делалось жалко тетю Нюру. А Танька с Лизкой вели себя удивительно: не ревели, не убегали, а с интересом наблюдали за родителями и только иногда выкрикивали:

— Дай ты ему по шее!

— Та-ак, правильно!

— Во, дал так дал!

— Эх ты!

— Подножку ему, подножку! Он и с костылей долой!..

Кончалось это обычно тем, что тетя Нюра, обессилев, начинала потихоньку причитать, дядя Костя обнимал ее

за плечи, уводил в избу, усаживал на табуретку и принимался утешать, а то и сам пускал слезу.

Девчонки тянулись за родителями в дом, какое-то время снисходительно смотрели на них и убегали на улицу. Потом тетя Нюра направлялась в поликлинику — мыть полы. Дядя Костя провожал ее.

Если погода была ненастная, сестры забирались на деревянную широкую кровать и укладывались спать валетом.

Дом Исуповых своим видом напоминал фонарь или скворечник. Крыша вместе с козырьком-карнизом и небольшим круглым чердачным окном сунулась вперед, и вид у дома был такой, будто он прислушивался к чему-то, наклонив голову, или заглядывал себе под ноги, на завалинку. Окна без наличников, с выносившейся под подушками берестой, не занавешенные шторами или подшторниками, открыто глядели на улицу, на железнодорожную линию, на мир. Они так же открыто позволяли людям, проходившим мимо, заглядывать и в нутро дома.

Никаких построек и пристроек возле исуповского дома не было. В просторной ограде — а дядя Костя говорил о ней: «У меня ограда до Ленинграда!» — в дальнем ее углу некрутой насыпью возвышалась куча дров, колотых и неколотых.

Огород у Исуповых был загорожен по-чуждому: изгородь пестрела досками, жердями и дверными полотнами, заменявшими в городьбе целые звенья. Местами городьба эта кренилась, а иногда и вовсе падала. Костя-околыш, заметив дыру в огороже, плевался и кликал тетю Нюру. Они сообща отыскивали в куче сваленных дров бревешко, жердь или толстую доску и подпирали завалившееся прясло.

Порядка в огороде у Исуповых не было никакого. Овощи и картошка росли буйно, часто вперемешку — ре-

па с морковью, лук с чесноком, — а то и сами по себе. Межи возле изгороди к середине лета густо зарастали коноплянником, и воробышки там содомили с утра до ночи. Лизка и Танька еще до посадки вооружались лопатами, выбирали в огороде место на свое усмотрение, делали грядки и сеяли на них цветы: ноготки, мальвы, красотку и мак. Цветы эти иногда всходили и даже расцветали, иногда, угодив под морковь или под картошку, перекапывались и захоранивались глубоко в землю, навечно.

Особенно родились у Исуповых бобы. Это было известно всей улице. Если дядя Костя бывал в хорошем настроении, он выходил на крыльцо, минуя единственную ступеньку, шагал сразу на землю и отправлялся в огород, громко выговаривая слова песни:

Ус-те-лю т-ван сан-ки кав-ра-ми!  
В гр-р-ривы конс-кия л-ленты вппле-ту!..  
Пра-ле-чу, пр-ра-зве-ню бу-бен-ца-ми  
И те-бя н-на ле-ту пад-хва-чу!

И все ходил да ходил по огороду.

Спустя время с этой же песней дядя Костя появлялся во дворе. Одной рукой он придерживал раздувшийся, отяжелевший подол рубахи, набитый бархатисто-зелеными толстыми стручками, другой подзывал нас. Он ждал, пока мы не замрем перед ним, только после этого с довольным видом опускал подол рубахи — и на траву выпались бугристые стручки.

Мы не теряли времени, с прищелком переламывали мясистые бобовины, выколупывали из них желто-зеленоватые, а то уж начавшие лиловеть бобы, уплетали за обе щеки.

Дядя Костя весело поглядывал на нас, на каждого в отдельности, долгим взглядом останавливался на Лизке, вздыхал и уходил в избу.

Я про себя тоже всегда восхищалась Лизкой и завидовала ей. Слушая песню дяди Кости, я все чаще думала о том, что как только Лизка вырастет, ее непременно подхватит на лету какой-нибудь молодец и умчит по степным дорожкам вдаль, в богатые хоромы...

«Меня-то никто не подхватит, — с печалью думала я тогда. — Ростом мала, видом неказиста».

Слово «неказисто» часто говаривал отец. «Некрасиво», «некрепко», «невелико», «несмело», «небогато» он выражал одним словом — «неказисто». Так и я — неказиста.

А Лизку подхватят — это точно! Вон какие здоровенные у Лизки глазищи: серые, в мохнатых ресницах, что озера. И кожа на лице у Лизки тонкая, гладкая и смуглая, и волосы темные да такие густущие и длинные, что ни у кого из наших девчонок таких нет. И нос маленький, ровненький, с тоненькими ноздрями, как у дяди Кости. Лизка, наверное, и не знает, какая она красивая...

Кроме всего этого, у Лизки длинные ноги, крепкие и быстрые, и сама Лизка смелая и справедливая.

У Лизки хороший голос. Дядя Костя песни ее слушать любит. Но слушает он Лизкины песни с тревогой — будет ли его дочь счастливая: уж больно певунья. Тетя Нюра утверждала, будто дурная это примета, злосчастный, значит, тот человек.

Танька — совсем другое дело. Да и мала еще Танька. Танька, как и тетя Нюра, — рыжеволосая, широкоскулая, с острыми карими глазами.

Таньку дядя Костя, кроме как рыжей, никак не называл. Тетя Нюра из-за этого очень переживала и плакала.

А Лизка с Танькой — еще девчонки. Лизка бескорыстна, Танька необидчива. Сестры вместе играли, вместе бегали на улице, дрались, мирились и одинаково относились к своим родителям.



СМЕРТЬ  
РОМАНА

**Д**альше в сторону оврага, за домом Исуповых, жили Блиновы. Дом у Блиновых новый. Когда его строили, мы целыми днями играли в срубах, ползали по ним, как тараканы, падали и ушибались. Но не жаловались, потому что играть в срубах нам строго-настрого запрещали. Если же заставлял там нас сам Блинов, он громко ругался, грозился снять штаны с того, кто подвернется под руку, и огреть крапивой. И мы разбегались кто куда.

Блинова звали Ефимом, и это имя, как мне казалось, очень к нему подходило: был он высок ростом, худой до кости, с тонким длинным носом на бледном усохшем лице, с жиденькими светло-рыжими волосами, в которых пятнами пестрела седина. Ходил Ефим ссутулившись и всегда глядел себе под ноги, в землю, будто что-то искал или боялся запнуться.

Фаина Блинова, жена Ефима, молчалива и работаща. Одевалась она в будни и праздники одинаково просто и чисто.

Роман, единственный сын Блиновых, был смирный, светловолосый и немного чудной. С нами Роман не играл, потому как был старше. Ровесников поблизости или не оказалось, или он не искал себе друзей — был сам по себе. С детства не очень крепкий здоровьем, до поступления в ремесленное училище он жил в деревне, у бабушки и бабушки. Там и в школе учился, а на каникулы приезжал домой, в дымный и пыльный наш городок.

Однажды Роман подошел к нам, постоял, поглядел, как мы носимся будто угорелые — играем в «матки». Но в игру не вступил, а тихонько подозвал к себе Генку Стрижова, немного с ним поговорил, еще раз поглядел на нашу игру, повернулся и зашагал к дому.

Генка растерянно и радостно смотрел Роману вслед. Тот оглянулся и помахал рукой. Генка ответил тем же, подождал, когда Роман скрылся из виду, ринулся к нам:

— Ур-р-ра-а! Завтра по черемуху! Ур-ра-а-а!..

Мы перестали играть, окружили Генку, ничего не понимаем. Генка перевел дух и быстро заговорил:

— Роман — парень я те дам! Сам вызвался идти с нами по черемуху. Нагнет любую — бери знай!

Мы удивились и обрадовались. Еще маленько погоняли мяч, но тут Генка распорядился: мол, время уже позднее, пора по домам, чтобы завтра не проспать.

Черемухи в тот год было очень много. Но близко черемуха не росла, а далеко нас одних не отпускали.

С Романом — другое дело. С Романом отпустили.

Поднялись мы чуть свет, забрали посудины, по куску хлеба с луком прихватили и отправились. Дошли до Блиновых, сели на бровку и стали ждать Романа.

Роман впереди идет, помалкивает да по сторонам посматривает. Мы за ним. А идти далеко. Сначала шли по линии, потом по железнодорожному мосту через Комасиху, потом еще шли, шли. Сначала забудемся, разыграемся, отстанем, но тут же спохватимся, догоним Романа и какое-то время идем смирно. Скоро уставать с непривычки начали, потому что шпалы на линии расположены широко и шагать по ним трудно. Когда отошли от моста, Роман оглянулся — мы сразу приняли бравый вид: не устали, мол, ни капельки. Он улыбнулся, сказал, что недалеко уж, и поспешил дальше, посматривая, как и Ефим, себе под ноги.

Добрались до Смешного лога.

Лог этот со странным названием был такой длинный да глубокий, что и дна не видать. Будто не лог это вовсе, а пропасть. Крутой, обрывистый склон его зарос черемушником, волчатником, папоротником да разной дурниной. Из глубины лога тянуло холодом, прелью и страхом. Глянув в эту глухомань, мы попятились и разом присмирели.

Роман тоже посмотрел на верхушки деревьев, провально спускавшихся в лог, свернул в сторону, огляделся и быстро отыскал едва заметную, уже заросшую крапивой да малинником тропинку.

Вышли на делянку, высвеченную ярким утренним солнцем. Тут развесисто росли рябины с еще бурыми кистями. Вперемежку с ними отблескивали черными налитыми ягодами из темной листвы толстостовольные редкие черемухи. Ягод на них — тьма, да разве достанешь? Тогда черемухи ведь не рубили и не спиливали, как нынче.

Походили мы, походили от черемухи к черемухе — и близко локоть, да не укусишь. Много, а не достанешь. Роман выбрал черемуху, разулся, поплевал на руки и полез.

Роман ломает ветки. Мы сидим чуть в стороне, на обсохшей от росы поляне, повернулись к солнцу спинами и обираем ягоды. Генка с Ленькой маленько погода тоже на черемухи забрались и тоже стали бросать нам ветки.

Время идет. Мы уж кричим, что хватит, что уж полные посудины и пить охота, да и поесть пора, а то во рту все связало от ягод.

Ленька слез, подсел к нам, хрумкает ягоды вместе с косточками. Генка с хохотом и выкриками принялся раскачиваться на вершине черемухи. Роман ухватился руками за толстый сук, вытянул шею, поглядел на Генку, заулыбался, оголив ослепительно белые зубы, и тоже начал раскачиваться.

И вдруг...

Огромный сук скрипнул и сухо щелкнул. Послышался треск порвавшейся рубашки, и Роман вниз головой повалился в чащу.

В первый момент мы только растерянно глядели туда, где упал Роман. Галка с Танькой захихикали. Но прошла

минута-другая, а Роман не поднимался, не выходил из чащи.

Генка перестал раскачиваться, сдирая на животе и на руках кожу, проворно соскользнул с черемухи, зыркнул на нас и ринулся в чашу. Мы повскакивали, кинулись за ним.

Роман лежал с закрытыми глазами, неловко подвернув под себя руку. Генка склонился над Романом, начал тормошить его, поднимать:

— Роман!.. Ты чо? Где ушиб? Где?..

Подскочила Лизка и стала помогать Генке с Ленькой вытаскивать Романа из чащи.

Роман долго лежал с закрытыми глазами, глухо стонал и морщился. Затем медленно, будто через силу, открыл глаза, огляделся, опираясь на руки, приподнялся, сел и вдруг весь скорчился: у него началась сильная рвота. Черные от черемухи губы в перерывах между приступами рвоты мелко дрожали, голова беспомощно валилась на грудь. Но тут же снова подкатывала тошнота.

Мы здорово перепугались, решили поначалу, что Роман объелся ягодами. Лизка схватила бидон, вытряхнула на траву ягоды, глянула на меня своими глазищами. Я тут же соскочила, и мы начали продираться по крутому откосу в лог. Генка окликнул нас:

— Вы чо, спятили? К речке ступайте! Бегом! Такой лог!..

Когда мы вернулись с водой, Роман, бледный и обесиленный, уже лежал в тени под черемухой. Он недоуменно глядел на нас, глядел по сторонам, все время морщил выпуклый лоб, будто силился что-то припомнить. В глазах у него были испуг и растерянность. Мокрые светлые волосы сосульками приклеились ко лбу. Лицо враз опало, постарело, и Роман сделался удивительно похожим на отца своего — Ефима.

Усталые и серьезные, мы возвращались под вечер из леса. У дома Блиновых Роман смущенно посмотрел на нас, на Генку, взглядом просил никому ничего не рассказывать. Генка сразу все понял, согласно затряс головой и тут же свирепо глянул на нас: мол, никому ни гугу.

С той поры Роман сделался вовсе странным, неразговорчивым. На лице его появилась постоянная не то виноватая, не то растерянная улыбка.

Лето кончилось, но дни стояли теплые и ясные. После школы мы подолгу играли на улице. Часто задерживались на поляне перед блиновским домом: все надеялись, что Роман выйдет. Но Роман не выходил. И в ремесленном он больше не учился. Слух прошел, будто здоровье у Романа вовсе пошатнулось и врачи посоветовали с годик отдохнуть.

Как-то бегали мы от ручья до Исуповых и обратно вперегонки и заметили: напротив блиновского дома на линии много народу собралось. Подумали, что зарезало кого-нибудь поездом, как раз состав недавно прошел. Помчались туда. Подбегаем и видим: в ограде у Блиновых, в широком, как двери, проеме сеновала, куда мечут сено, висит на веревке Роман...

Остолбенело смотрела я и не могла постигнуть того, что произошло. Все казалось, будто Роман покачается, повисит, потом мотнет головой, высвободится из петли, спрыгнет на припорошенные мелким сеном доски сеновала возле проема и заулыбается.

Двое мужчин отстраняли Фаину от дверей конюшни, откуда вела лесенка на сеновал, и все оглядывались по сторонам: не покажется ли где фельдшер скорой помощи Иосиф Григорьевич Чернобров с милицией, чтобы все расследовать. А Фаина, стиснув зубы, дрожащая, обезумевшая, била мужиков кулаками куда попало, кусала им руки и все рвалась на сеновал.

До меня донесся голос тети Нюры Исуповой:

— Роман-то две ночи дома не ночевал перед тем. Ефим-то с Фаиной беспокоились, разыскивали его, ночей не спали, спрашивали у всех, не видел ли кто. Вчерась Ефим отправился в деревню. Им и не ума поглядеть на сеновал-то...

Разговор прервал дядя Володя Князев. Он начал прогонять нас домой:

— Ступайте, ступайте! Нечего вам тут делать! Марш все отсюда! Тут горе, а не спектакль...

Вскороги после этого Блиновы продали корову, сломали сеновал, и тогда у них появилась коза — единственная на всей нашей улице. Была она рогатая, бодучая и тощая. Люди кляли ее, звали деревянной скотиной и как могли оберегали от нее огороды и палисадники.

После смерти единственного сына зажили Блиновы вовсе отчужденно, на особицу. В тот же год они начали строить новый дом и разводить сад.

Блиновы были уже немолоды, нигде не работали, видимо вышли на пенсию. Каждое лето они выращивали лук, очень много луку. В начале лета — батун, потом репчатый, затем опять батун. Корзинами носили его на базар продавать. Случалось, и мы покупали у Блиновых лук, если к той поре не поспевал еще свой, а мать затевала стряпать луковые пироги.

Фаина выносила пучок луку, перевязанный мочалкой и подвешенный на крючке безмена, показывала, сколько его тут, брала деньги, отдавала лук и, ни слова не говоря, закрывала плотную дверь ограды.

Никто не сердился на Фаину. Все знали, что после смерти Романа она совсем разучилась разговаривать.

На улице Фаина показывалась редко. Ее можно было увидеть с двумя огромными связанными полотенцем корзинами, в которых густой щетиной зеленело сочное

луковое перо: Фаина шла на базар. В другое время большущими крашеными ведрами-бадьями Фаина носила из колодца воду. Воду в ведра наливала она вровень с краями, в каждое ведро опускала по деревянному кресту из лучины — чтобы вода не плескалась — и, ссутулившись под тяжестью, твердо, чуть покачиваясь, шагала. Коромысло при каждом ее шаге поскрипывало, будто жаловалось, и нам казалось, что земля прогибается под ногами Фаины.

Воды она носила много, раз по двадцать иной день ходила. Раньше, заведя Фаину, выходившую из ограды с пустыми ведрами, мы бежали к колодцу и спешно считали на колодезном срубе, сколько бревен до воды. Когда Фаина уносила воду в последний раз, мы снова бежали к колодцу, снова считали бревна и после с тревогой и удивлением рассуждали о том, что так вот когда-нибудь Фаина выносит из колодца всю воду. Теперь, заведя Фаину с ведрами, мы все равно бежали к колодцу, по старой привычке считали бревна, не скрытые водой, но, пока она носила воду, от колодца не отходили, по очереди крутили ручку — помогали вытягивать тяжелую бадью.

Время шло, а горе Фаины не убывало, и даже нам, ребятишкам, было больно глядеть на нее, согнувшуюся от тоски и тяжести.

Огороду Блиновых был загорожен высоким плотным забором из заостренных на концах досок. В каждый заостренный конец Ефим вбил по большому кованому гвоздю, и этот частокол из гвоздей возвышался вторым этажом над деревянным забором. Когда я глядела на этот забор, мне почему-то думалось, что Ефим хотел отгородиться не столько от воров, сколько от беды, которая после смерти Романа могла в любое время явиться сюда снова.



РУФОЧКИНА  
СВАДЬБА

**П**оследний дом в сторону оврага, о котором мы знали все, что доступно знать ребятишкам, был дом Чернобровых. Самого Черноброва все называли доктором или по имени-отчеству, потому как работал он фельдшером скорой помощи, человек был известный и всеми уважаемый. Иосиф Григорьевич всегда разъезжал на лошади: летом в плетеном тарантасе, зимой в кошевке. Посматривал он на всех свысока, поблескивал стеклами пенсне, отчего казалось, что Иосиф Григорьевич постоянно думал о том, как лучше и быстрее вылечить всех больных на своем участке, — и люди уважали его за это еще больше.

Анна Ивановна, жена его, полная высокая женщина, ходила важно, как пава, никогда и никуда не торопилась. Всех она жалела, нищим подавала милостыню, одевалась чисто и богато — носила кашемировые да сарпиковые юбки. Седые пышные волосы она по-мудреному свивала на макушке. Голос у Анны Ивановны был грудной и мягкий, лицо чистое, белое и уж очень благородное, не как, например, у тети Нюры Исуповой или у других женщин на нашей улице.

Как-то тетя Нюра разговаривала с матерью, и в это время мимо прошла Анна Ивановна. Тетя Нюра проводила ее взглядом и восхищенно произнесла:

— Белолица! Ничего не скажешь! А лицо-то у ей, Архиповна, если хочешь знать, конопатое еще пуще, нежели у меня, — тетя Нюра заговорила таинственным шепотом, — только она и утро каждое, и вечером умывается парным молоком, да еще снадобья всякие в аптеке покупает... Время позволяет, дак чо не мазаться! — вздохнула она и заключила с легким сожалением: — А нашему брату недосуг.

Мать пожала плечами и никак не отозвалась. А я незамедлительно сбегала к Лизке, все рассказала, и мы

тайком тоже стали умываться молоком. С неделю умывались, но какими были — такими и остались, и забросили это дело.

Когда хозяйки утром выгоняли коров и останавливались за линией в ожидании пастуха, Анна Ивановна рассказывала, какие женихи сватают ее дочь, какое приданое она готовит Руфочке.

Рассказывала, что у Руфочки одних панталон с кружевами целая дюжина, а есть еще скатерти, шторы, полотенца, наволочки строченые... Но тут Анна Ивановна вдруг горестно вздыхала, печалилась лицом и начинала сокрушаться, что, мол, как только Руфочка выйдет замуж, так и погибнет: очень уж она у них нежная.

Мы знали эту Руфочку. Глаз оторвать не могли, когда она проходила мимо. Руфочка носила высокие, почти до колен, ботинки со шнурком и на высоком каблучке, белое платье с кружевами. Платье это, пышное в подоле, в поясе было так перетянuto, что казалось, Руфочка вот-вот задохнется и погибнет еще до замужества. У Руфочки очень бледное лицо, тоненькая шея. Темные волосы над ушами и надо лбом завиты плойкой и заколоты на макушке. Красивая Руфочка.

Она служила в госбанке кассиршей. Тетя Нюра Исупова была уверена, что Чернобровы оттого и живут, как баре, что дочь работает в банке.

— Неужели у денег да быть без денег? — Тетя Нюра всем старалась внушить, что, мол, иначе и быть не может, и для большей убедительности припоминала пословицу: — Отсеки руку полокóт, которая к себе не волокот!..

Дом Чернобровых по красоте выделялся из всех домов на нашей улице. Окна в резных наличниках, как в деревянных кружевах, и выкрашены в светло-зеленый цвет. Ворота плотные, высокие, в две створки. Кромки треугольной крыши тоже оторочены деревянными кру-

жевами. Стены дома снаружи обиты стругаными ровными дощечками и покрашены желтым. Все говорили: у Чернобровых обшитый дом.

К дому примыкала веранда. Вместо стен у нее были широкие рамы — от пола до потолка, только с мелкими перекладинками, по которым снизу вверх летом вились желтенькие и синенькие цветочки. Стекланные стены веранды, как и все окна в доме, до половины занавешены шторами.

Мы часто усаживались на поляну перед домом Чернобровых. Иногда видели, как на веранде зажигался свет, на столе появлялся блестящий пузатый самовар. Вслед за Анной Ивановной, легко постукивая каблучками, впархивала на веранду Руфочка, и чуть погодя появлялся Иосиф Григорьевич, в жилетке поверх белой рубахи, в очках, с журналом или с газетой в руках.

Мы молча наблюдали, как Чернобровы пили чай из красивых чашек, как брали с тарелки пряники или печенье, а то и по шанье, и не по одной, неторопливо жевали, смотрели в чай, друг на друга, о чем-то разговаривали. Сидели мы так до тех пор, пока семейство не уходило с веранды, после чего она погружалась в темноту.

Если мне случалось бывать возле этого дома днем и в ограде на веревках сушилось белье, чистое и дорогое, я незаметно приближалась, рассматривала кружевные салфетки, Руфочкины рубашки и панталоны с кружевами и ленточками и давала себе зарок: вырасту большая, заработаю денег, куплю мануфактуры, кружев, выучусь на портниху — сошью себе такие же!

Перед новым годом была Руфочкина свадьба!

Известие о предстоящей свадьбе, кривотолки об этом на время спутали, взбудоражили жизнь на нашей ули-

це. Всюду только и было слышно: «Иосиф Григорьевич дочь замуж выдает!..», «Руфочка у Чернобровых замуж выходит! За инженера из «ДП».

По вечерам стали собираться у Чернобровых девчата, Руфочкины подруги и просто знакомые. Они засиживались допоздна, вышивали, строчили, шили, вязали кружева — готовили невесте приданое, хотя, по словам Анны Ивановны, от приданого и так уж сундуки ломаются.

За несколько дней до свадьбы принялись хлопотать стряпухи. Тетя Нюра Исупова, наша мать, Колдунья — все помогали Анне Ивановне: теребили и потрошили кур и гусей, палили и обихаживали телячьи ноги и голову на студень, стряпали торты, а потом уж пекли разные печенья, плюшки и пироги. Даже у нас, ребятишек, появилось много хлопот и дел. Мы возили в бочонках воду, расчищали от снега ограду Чернобровых и дорогу перед домом, были на разных побегушках. В общем, дел оказалось так много, что вся улица с ног сбилась.

В день свадьбы дядя Костя пригнал к дому Чернобровых с десятков лошадей, запряженных в кошевки. Дуги с колокольчиками девчата тут же увешали разноцветными лентами. Народу возле дома — тьма-тьмушая. Люди разговаривали, покашливали, похохатывали и не спускали глаз с крыльца.

Дверь распахнулась. Из дома вышли парни, веселые, нарядные, с красными бантами на груди. С шутками и прибаутками принялись они расталкивать на стороны любопытную публику и прокладывать дорогу молодым. Вскоре показалась Руфочка в сопровождении жениха.

Не Руфочка — царица! На голове у нее вензель из белых не то стеклянных, не то восковых цветов, прикрытый газовой вуалью, поверх которой накинут пуховый платок. На Руфочке меховая шубка и лаковые ботинки на каблукче.

С еще большим любопытством люди разглядывали Руфочкиного жениха — инженера из загадочного учреждения «ДП». Не только нам, ребятам, а и многим взрослым «ДП» это представлялось каким-то важным секретным учреждением, а не дистанцией пути.

Жених, светловолосый, высокий, бережно вел Руфочку под руку, затем усадил ее в кошевку, укутал ноги ей меховой накидкой и сам уселся рядышком.

В первой кошевке восседал Костя-околыш, тоже нарядный, тоже с шелковым красным бантом и тоже очень веселый. Он и сам смахивал на жениха. К себе дядя Костя посадил несколько девчат и, пока усаживались остальные, обнимал их, тискал и что-то весело наговаривал.

Вслед за молодыми сели родители, а после уж родня и гости. И рванула с места дяди Костина лошадь! За нею помчались другие. Зазвенели колокольцы в морозном воздухе, запылали разноцветные ленточки на дугах! Снег веером полетел на стороны и долго еще сероватой тучей клубился вослед умчавшимся лошадям.

Когда последняя подвода скрылась за поворотом, на улице сделалось до того тихо и пустынно, будто враз оборвалась тут жизнь. Мы еще постояли перед домом Чернобровых, поглядели на опустевший и притихший дом, на перетоптанный, постаревший снег и пошли домой. Народ, который приходил поглазеть на пышную свадьбу и на поезд дяди Кости, тоже разбрелся.

Дома не сиделось. Играть охоты не было. Прокачаться бы на лошадях!..

Еле-еле тянулось время. Мы то и дело выскакивали на улицу, прислушивались, вглядывались вдаль. Мать начала уж ворчать, что всю избу выстудили. Но вот послышался долгожданный звон колоколов. Мы гурьбой высыпали навстречу веселому свадебному поезду.

Лошади все подъезжали и подъезжали. Закинув на раскате кошевки, кони останавливались, норовисто выгибали шеи, всхрапывали и постепенно успокаивались, выдувая из ноздрей горячий пар. И лошадям, видно, передалось людское возбуждение.

Мы забрались на крышу дровяника — наблюдать.

На крашеном крыльце разостлан ковер. Иосиф Григорьевич и Анна Ивановна вылезли из кошевки, нарядные и величавые, поднялись по ступенькам, встали по сторонам, и тут им подали по тарелочке с зерном.

Сквозь шумный и яркий людской коридор к дому шла Руфочка. Пуховая шаль почти соскользнула с газовой вуали. Руфочка придерживала шаль маленькой, в перчатке, рукой. Ломаные темные брови ее были приподняты, глаза с радостным волнением оглядывали людей. Щеки разрумянились, в улыбке белели влажные зубы...

Жених поддерживал Руфочку за локоть и тоже поглядывал вокруг, кому-то едва заметно кланялся, но тут же переводил взгляд на невесту. Чисто выбритое лицо его светилось счастьем. И счастье, по-видимому, было так велико, что согревало его всего изнутри, и он шел в распахнутом пальто, с шапкой в руке.

Вот Руфочка с женихом поднялись на крыльцо. Чернобровы троекратно поцеловали того и другого, посыпали по щепотке зерна на головы молодых и уступили им дорогу в дом.

Руфочка перед тем, как ступить на ковер, громко топнула, взглянула на родителей, потом опустила голову и, мелькнув шубкой, скрылась в дверях. За нею прошел жених. Вслед молодым послышался ропот, раздались негромкие, с усмешкой голоса: мол, под пятой мужика держать станет Руфочка, коли топтать так горазда! Не гляди, что насквозь светит, свое возьмет!..

В дом входили и входили люди. У мужиков и парней шапки лихо сдвинуты, у кого на затылок, у кого на ухо, полушубки и пальто нараспашку. Выбившиеся волосы заиндевели, лица у всех возбужденные, красные. Женщины в ярких полушалках, поверх которых были накинuty большие и тяжелые суконные шали, и от них волнами разносился нафталиновый запах.

Размахивая руками, постукивал деревянной ногой пьяненький дядя Егор — отец Генки Стрижова. Костя оковыш, обняв тетю Нюру за плечи, смеялся во весь малиновый рот и громко топал на ступеньках, стряхивая снег с хромовых сапог.

Дальше шли незнакомые люди, старые и молодые. Мы обрадовались очень, когда увидели аптекаря Серафима. На нем шапка пирогом и черное пальто с воротником из серого каракуля. Рядом с Серафимом шла Манефа Павловна, жена аптекаря. Возле крыльца они замешкались, протирая запотевшие очки. На них зашумели, начали волноваться сзади. Серафим смутился, подхватил жену под руку, и они торопливо протопали по ступенькам.

В воротах ограды показалась наша мать. Мы отпрянули подальше, чтоб она не заметила нас и не отправила бы домой. Она не заметила, а может, и заметила, да виду не подала. Отец, когда поднялся вслед за матерью на ступеньку, посмотрел в нашу сторону, улыбнулся и потряс головой: мол, нравится, так глядите, только не упали бы...

Прошли и Колдунья с дядей Володей, и тетя Тина — Генкина мать. Всех соседей пригласили Чернобровы на свадьбу.

Пока мы наблюдали за гостями, лошадей угнали на конный двор, и за оградой сделалось пустынно и неприятно. А мы-то рассчитывали прокатиться на лошадях!

Снег пестрел скорлупой от семечек и орехов, разноцветными бумажками от конфет, окурками — будто тут только что был базар. Дорога возле линии сделалась широкой, размешанной и комковатой.

А из дома уже вырывался громкоголосый говор и смех. Нам тоже захотелось туда — посмотреть, как бушует свадьба. Но кто нас туда пустит? Генка уцепился за резной наличник, стал карабкаться по струганым доскам и заглядывать в окно. За Генкой полезли и мы, но успевали только заглянуть в окно, как тут же соскальзывали, срывались, и тогда уж карабкались другие.

Все-таки мы успели рассмотреть длинный стол, уставленный бутылками, графинами и тарелками. За столом тесно сидели люди, пили, ели, смеялись и говорили громко, все враз. В дальнем конце стола под громкие выкрики жених то и дело целовал смущенную и счастливую Руфочку, всю в кружевах, шелках и лентах.

В доме зажгли свет и окна задернули строчеными подшторниками. Заглядывать стало неинтересно. Лизка подошла к крыльцу и начала важно, как Руфочка, подниматься по ступенькам. И только Лизка успела топнуть ногой, как дверь хлопнула. Лизка пулей вылетела из ограды.

Мы еще потоптались на улице, думая, чем бы заняться. Дом Чернобровых всеми окнами светился в сумерках и был похож на терем. Галка наша захныкала: руки замерзли. Танька Исупова про еду заговорила:

Направились по домам.

На другой день гости и молодые катались на лошадях, мы, осмелев, липли к кошевкам сзади, тоже кричали, смеялись, захваченные всеобщим весельем. Дядя Костя стоял возле свободной кошевки, хлопал по шее вороную кобылицу и улыбался. Приметив нас, поманил к себе пальцем.

Нам объяснять ничего не надо. Со свертками и узелками — Анна Ивановна всех нас оделила за старание гостинцами — повалились мы в кошевку и поехали! Вихрем, как нам показалось, промчались мы по нашей улице, завернули за линию, там прокатились и, когда стали подворачивать к хлебозаводу, дядя Костя так разогнал лошадь, что кошевка торнулась об угол забора, встала на ребро, и посыпались мы из нее в снег, как котята. Выкарабкались, поглядели вслед кошевке — дядя Костя и не заметил, что растерял нас! Едет себе дальше, еще и песню выкрикивает. Принялись отыскивать да выковыривать из снега свои гостинцы.

...Летом Руфочка уже не перетягивалась в талии поясом, как бывало раньше, не носила ботинки на высоких каблуках, а ходила осторожно, плавно, выпятив вперед живот. Губы у Руфочки распухли, глаза ввалились и покраснели, будто она только что долго и горестно плакала. Куда и красота Руфочкина делась?

Мы глядели на Руфочку с жалостью и беспокойством, думали: всё, подходит Руфочкина пора умирать...

Танька Исупова однажды проводила ее жалостливым взглядом, вздохнула по-взрослому и призналась:

— Я никогда замуж не пойду! Я думала, замуж — это хорошо. А он, оказывается, какой страшно-ой, замужто. Ноги тонкие, худые, лицо синее, брюхо большое... Ходит и все ревет-от...

Лизка снисходительно посмотрела на сестру, поднялась и прошла перед нами, смешно переваливаясь с ноги на ногу, как гусиха, — передразнила Руфочку.

Напрасно мы за Руфочку переживали. Не умерла она, а вскорости родила сына и сразу после этого сделалась вроде Анны Ивановны, матери своей, — полная и важная.



**ДЯДЯ  
ЕГОР**

**У** Стрижовых дом был старенький, вросший в землю, с большими окнами и скрипучими половицами. В палисаднике перед домом росли кусты желтой акации. Когда акации зацветали, мы взбирались на невысокую изгородь палисадника, обрывали желтенькие мелкие цветочки, ели их, упругие и сладковатые, а после маялись животами. Потом на месте желтых цветочков появлялись тонкие и узкие стручки. Мы опять карабкались на изгородь, нащипывали в подол или в карманы упругих, как проволока, стручков, выколупывали коричневые, как мышиный горох, мелкие ядрышки, откусывали тупой конец стручка, делали свистульки и пищали кто во что горазд с утра до вечера.

Дядя Егор, Генкин отец, раньше работал машинистом паровоза, как дядя Володя Князев, но несколько лет назад угодил под маневрушку. Тогда и лишился дядя Егор ноги. Тетя Тина, Генкина мать, рассказывала, что когда у дяди Егора отрезало ногу, он лежал и все упрашивал, умолял толпившихся людей подать ему ногу. Ногу ему никто не подал, а приехала скорая помощь и увезла дядю Егора в больницу. И еще рассказывала тетя Тина, что дядя Егор до сих пор стонет и мается по ночам оттого, что нестерпимо болит его левая нога от самых пальцев до колена, хотя на самом деле ее давно уж нет...

Я слушала эти разговоры, поглядывала на деревяшку дяди Егора, представляла, как он, плачущий и несчастный, умоляет подать ему его ногу, и все думала: «Может, плохо сделали люди, что не подали тогда ему ногу? Может, легче было бы, если б подали — не так болела бы она теперь по ночам?..»

И стал дядя Егор портняжничать: шить пальто, полупальто, брюки, костюмы. В переднем углу просторной стрижовской избы стоял длинный, как верстак, стол. На столе, на каменной плитке — здоровенный чугунный утюг.

Перед окном — ножная машина. Все у дяди Егора под рукой.

Перед тем как садиться за машину или кроить материал, дядя Егор надевал поверх рубахи коротенький фартук с большим карманом, пришитым сбоку. В кармане лежали наперстки, спички, кисет с табаком и носовик, как называл дядя Егор носовой платок.

Лицо у дяди Егора было круглое, конопатое, очень доброе. На лбу — три глубоких морщины. Они прогибались над переносицей и бугристо вздымались над бровями. И губы были привычно изогнуты, будто он все время сжимал чубук трубки. Над кончиком носа топорщились реденькие бесцветные волоски. Голос у дяди Егора был низкий, с хрипотцой, шея кадыкастая, плечи широкие, сутуленные, а руки большие и удивительно проворные. Толстые пальцы ловко держали иглу, будто всю жизнь только с иглой имели дело.

Когда мы играли у Стрижовых в избе и уж очень сильный шум поднимали, дядя Егор вставал из-за машины, топал деревяшкой и хрипловато говорил:

— Сколь стювать вас надо? Ечмена-то кладь! Изба ходуном ходит! Угомонитесь маленько! — И вскорости, как ни в чем не бывало, снова стрекотала ножная машина.

Если по линии мимо окон проходил железнодорожный состав, дядя Егор прикладывал широкую ладонь к быстро крутившемуся колесу машины, тормозил и, вздыхая, печально глядел поверх кустов акаций на проходящий состав. Проводив взглядом последний вагон, он раздумчиво тряс головой, печально произносил «ечмену кладь», вытаскивал из большого кармана трубку и кисет, неторопливо раскуривал и, попыхивая ею, долго глядел куда-то сквозь стену.

У Стрижовых в огороде мы всегда делали катушку

и всю зиму катались с нее. Даже перед школой иной раз успевали забежать и прокатиться разок-другой. Фанерок ни у кого не было, но мы приспособились: на одну ногу, согнув в колене, садились, другую вытягивали вперед и мчались с катушки. Кто еще возьмет да на спину вальнется и катится. Как-то вальнулась и я. Поехала. Но напоролась на торчавшую во льду шепку и разорвала свою новую шубу по спине от ворота и до подола. Разорвала — как разрезала, по самой середине.

Шуба моя, по правде сказать, была не совсем новая, ее дядя Егор перешил мне из Ольгиной. Но я-то впервые носила такую, и жалко мне ее было нестерпимо. Явилась я домой в рваной шубе поздно вечером, вместе со всеми. Пятясь, пробралась за печку, сдернула шубу, вывернула овчиной кверху и повесила под ребячью одежду.

В школу утром убежала в стареньком пальтишке. Выждала момент, когда мать корову доить ушла, — и убежала. А из школы прямо к Стрижовым: домой боялась появляться. Генка уже рассказал отцу, что со мною приключилось, и дядя Егор взялся помочь моему горю — велел сбегать домой за шубой.

Долго ждала я в огороде за углом, пока кто-нибудь не покажется из избы. Смотрю, Галка в баню за тазом побежала. Окликнула, помаячила. Галка все сразу поняла, сбегала за тазом и шубу мою потом незаметно вынесла. Я с шубой со всех ног к Стрижовым.

Не напрасно говорят: дело мастера боится! Дядя Егор колдовал, колдовал над моей шубой, и так ворочал ее, и так, а у меня сердце не на месте: вдруг ничего не сможет сделать! Но дядя Егор взял ножницы в руки, мел. А мы с Генкой стали срисовывать с книжки Кремль. Пока рисовали да спорили, у кого правильней да лучше, дядя Егор управился с делом. Глянула я на свою шубу — и не узнала! Сердце от радости так и екнуло. Шуба моя

лучше новой сделалась. Вдоль спины от ворота до подола дядя Егор нашел планочку из материи, вроде накладной складки, а по планочке этой в ряд нашел пуговицы! Ну и дядя Егор! Ну и мастер золотой!

Я от радости слова выговорить не могу, только улыбаюсь да поворачиваюсь перед зеркалом так и этак. Ребята стрижовские тоже восхищенно глядят на меня, ходят вокруг да за пуговицы дергают. А дядя Егор посмеивается довольно, морщины на лбу у него еще глубже сделались.

Дня через два, когда мы снова играли у Стрижовых, зашла к ним наша мать, поздоровалась — и к дяде Егору:

— Егор Малафеевич, и что это ты ребят балуешь? Есть у тебя время пустяками заниматься! Вон девке шубу-то как изладил! Ровно на фабрике... И без фокусов износила бы. На них вон все как горит! Теперь и Галька такую же просит, — мать потупилась, помолчала, с благодарностью поглядела на дядю Егора и тихо добавила: — После, когда у вас корова доить не станет, — молоком ли, как ли рассчитаюсь. А то обутки отец починит. Спасибо, соседушко...

А дядя Егор, удостоверившись, что все сошло гладко, заторопился, заулыбался:

— Архиповна! Милая! Ечмена-то клады! Охота ведь ребятам понаряжаться! Мы-то чо видели за свою жизнь? Ечмена кла-а-ады!..

Заслушалась я дядю Егора, и мне очень захотелось стать портнихой, шить красивую одежду, чтобы люди радовались обновке. Вон дядя Егор из простой шубейки сделал какую модную!

С этой поры я все чаще подсаживалась к нему. Сначала научилась ногами работать, после шпульки намотывать стала, потом белые полоски к матросским ворот-

ничкам пришивала, чтобы «яблочко» танцевать. А после и дяде Егору помогать понемножку начала: то наметку выдержая, то пуговицу пришью. Дядя Егор подсказывает, что и как делать надо, иногда прямой шов прострочить даст, и только ворчит, если я наперсток на палец надеть забуду.

Старший сын у Стрижовых служил в армии, дочь работала стрелочницей, трое учились в школе, а двое были еще малы.

У Стрижовых бывать мы любили. Тут все просто: что хочешь, то и делай. Дяде Егору не до ребят: ему шить надо. Тетя Тина, как и наша мать, вечно в делах да заботах. Она радовалась, если ребята чем-то занимались, не приставали к ней, не отрывали от дел, бесконечных при такой семье. Захотим, бывало, в прятки играть — играем, везде лезем — и ничего. Представления разные у них устраивали, будто в театре. Растащим у тети Тины шали, скатерти, посуду, что-то нечаянно выпачкаем, что-то порвем или разобьем. Все сходило. Тетя Тина не Колдунья, которая из-за несчастного малинника готова не знаю что сделать.

В концертах, которые мы устраивали у Стрижовых во дворе, в той половине, где под навесом настлан пол — это была сцена, — мы показывали все свои способности и таланты. Готовились к концертам основательно: делали Лизке бусы из рябины или из шиповника, а то и из гороху да из бобов, выкраивали из синих тряпок, которые давал нам дядя Егор, матросские воротники, и я на машинке пришивала к ним белые полосы.

Мы с Галкой танцевали «яблочко» и матросский танец «матлот». Наряжались в коротенькие юбки, в белые кофты с матросскими воротниками, на головы надевали ребячьи бескозырки и, уперев руки в бока, прыгали с ноги на ногу, тянули невидимую веревку, хлопали в ладоши и

подносили к глазам руки козырьком — изображали бинокли.

Ленька наш читал свое любимое стихотворение «Однажды, в студеную зимнюю пору». Танька плясала русского и барыню. Галка тоненько выводила «Буря мглой небо кроет...» и «По солнышку, по солнышку, дорожкой луговой...» Верка Князева исполняла акробатические номера. Генка Стрижов вставал по стойке «смирно» и серьезно пел «Там вдали, за рекой, загорались огни...»

Но всех нас перекрывала и приводила зрителей в неописуемый восторг Лизка Исупова. Она наряжалась непременно цыганкой: поверх короткого платья повязывала большим узлом на боку тети Тинину шаль, бордовую, с крупными цветами и с кистями, на шею надевала самодельные бусы, углем наводила себе брови, завитушки надо лбом и возле ушей и распускала по спине волосы. Такая цыганка, только в длинной пестрой юбке, была нарисована на флаконе из-под духов.

Лизка уверенно, с достоинством выходила на сцену, останавливалась перед публикой, глядела сначала поверх голов зрителей вдаль, за ограду, потом в пол, прокашливалась в кулак и запевала длинную и печальную песню «В воскресенье мать-старушка к воротам тюрьмы пришла...»

Лизка с чувством выводила слова песни, глаза ее постепенно влажнели, голос начинал слегка дрожать, переливаться вздохами, отчего песня делалась еще переживательней. И зрители, особенно взрослые, особенно женщины, к концу песни начинали шмыгать носами и прикладывать к глазам уголки платков или передников.

Лизке долго и громко аплодировали. Костя-околыш называл Лизкино выступление гвоздем программы, снисходительно и гордо поглядывал на всех. Дядя Егор топал деревянной ногой и кричал:

— Давай еще! Еще давай, Лизавета!..

А Лизка раскланивалась, как настоящая артистка, защиппнув двумя пальчиками по бокам короткое платье и подгибая длинные ноги, потом выпрямлялась, пережидала шум и запевала другую, любимую песню Кости-околыша:

Начинаются дни золотые  
Воровской, непродажной любви...

Я не спускала с Лизки глаз, затаив дыхание, слушала песню и всем сердцем хотела, чтобы Лизка пела еще лучше, хотя петь лучше было уже невозможно.

Устелю твои санки коврами,  
В гривы конские ленты вплету!  
Пролечу, прозвеню бубенцами  
И тебя на лету подхвачу!..

Пела Лизка, а я замирала, окончательно уверенная в том, что Лизку непременно подхватит и увезет в санях или в карете, усталой коврами, красивый жених, и опасно озираясь: «Не случилось бы это сейчас! Уж больно здорово Лизка поет! — Но тут же успокаивала себя: — Надо же ей еще вырасти, надо еще школу кончить. Вот когда Лизка станет как Руфочка... И больше не давать нам будет Лизки!»

Доведя зрителей, да и нас, артистов, до наивысшего восторга, Лизка скидывала цыганскую шаль, слюнями стирала со лба завитушки и танцевала умирающего лебедя. Она показывалась в углу сцены и оттуда на цыпочках двигалась к публике, мелко-мелко переступая ногами, размахивая, как крыльями, длинными тонкими руками. Долго ходила так по кругу, затем печально глядела в крышу навеса, совсем закатывала свои большущие глаза, медленно опускалась на пол, сгибалась в три погибели, вытягивала в сторону загорелую ногу и замирала...

Выдавая заказ, дядя Егор получал заработанные деньги, пересчитывал, торжественно отдавал их тете Тине и взглядом давал понять, как надлежит ей поступить.

Тетя Тина знала, как поступить. Она принимала от мужа деньги, быстрехонько переодевалась, брала моchalную сумку, завязывала в уголок носового платка деньги, оглядывала избу, семейство, затем себя и уходила.

Возвращалась тетя Тина с полной сумкой покупок, и тогда наступал праздник, по-семейному шумный и люднй большой стрижевский праздник. Потом стрижевские ребята носились по улице с конфетами и пряниками и щедро оделяли угощением нас.

Хорошие люди Стрижовы. И ребята у них хорошие, особенно Генка, бойкий и на выдумки гораздый. Это он как-то придумал прицепиться к последнему вагону состава. Мы часто катались по линии на коньках, привязанных к валенкам. Дорожка меж рельсов, правда, узкая, но длинная, и лед на ней ровный. Вот мы и гоняли. У парнишек в руках длинные крючки из проволоки: если мы, девчонки, убегаем на коньках вперед, то ребята цепляют нас этими крючками за воротник или за карман, а то и за пояс, с хохотом обгоняют и мчатся дальше.

Заслышим поезд — в снег свернем, пережидаем. А свернем-то недалеко: снег по сторонам линии глубокий, особенно после того, как снегочист пройдет. Состав мимо мчится, гремит оглушительно, и ветер такой от него делается, что мы еле на ногах стоим и руками прижимаем шали или шапки, чтобы не сорвало. Если семафор оказывался закрытым, то состав пшикал тормозами, шел медленней, а потом и вовсе останавливался. Тогда мы выбредали из снега на линию и поворачивали обратно.

Однажды, когда поезд замедлил ход, Генка и предложил подцепиться к товарняку, к заднему вагону.

Только сказал он про это — тут же разогнался и зацепился проволочным крючком за чугунную петлю. За ним Ленька. За Ленькой еще ребята. У нас проволочных крючков нет, да и страшно все-таки. Мы отстали.

Заметив ребят, кондуктор взял лейку со смазкой и пустил струйку Генке на голову. Расплывается по Генкиной шапке черная жижа, а он ничего не чувствует: так увлекся. Мы кричим Генке, чтоб отцеплялся — не слышит. Отцепился, когда смазка за ворот потекла. Скинул Генка шапку, погрозил кулаком кондуктору и давай тереть ее о снег. Снег черным делается, жирным, а с шапки мазут не убывает...

Попадет Генке! Испугались мы и стали придумывать, как быть. Оттирали шапку по очереди, но без толку. Мазут есть мазут: никак он не оттирался, и ничего другого не придумывалось. Побрел Генка домой, потому что от мазута холодно сделалось и рубаха к телу прилипла.

Мы — за Генкой.

Тетя Тина не била Генку. И не ругала даже. Она долго, с час наверное, сидела неподвижная, несчастная и все смотрела на Генкину шапку. Нам очень жалко было тогда тетю Тину, да и сам Генка, понимали мы, уже горько раскаивался. Потом тетя Тина грела воду, отмывала Генкину голову и спину, стирала шапку, рубаху, замывала пальто.

Генка же первым из ребят научился делать и запускать бумажного змея. Первым начал вырезать из консервных банок жестяные пропеллеры. Вырежет аккуратно, изогнет маленько, приспособит на катушку, где вместо ниток тонкий шнурок намотан, дернет так, как лодочные моторы сейчас заводят, — и жестяной пропеллер, сухо шелестя, взвывается ввысь.

Генка мечтал стать летчиком.

Мечта эта запала Генке в душу после того, как он

посмотрел кинокартину «Крылья холопа». Хорошая картина. Мы ее потом еще несколько раз вместе с Генкой смотрели. Но только его она поразила так, что он и во сне стал часто видеть себя летчиком, настоящим. Утром Генка принимался рассказывать тете Тине, матери своей, про сон. Она послушает маленько Генку и скажет:

— Растешь, значит, — вот и летаешь!

Скажет — и все. Дальше слушать ей уже некогда.

Генка по-прежнему играл с нами во всякие игры, носился по улице, только чаще стал засматриваться на небо да задумываться при этом. Вот, к примеру, играет Генка с нами в «глухие телефоны» или в «фантики», сидит на поляне и ждет, когда его будут спрашивать насчет поездки на бал. Лизка каждого по очереди спрашивала об этом и донимала, пока тот не проговорится, не скажет «да» или «нет» и не отдаст Лизке свой фантик. Доходит очередь до Генки.

Вам барыня послала в туалете сто рублей!

Что хотите — то берите.

Черно-бело не берите.

«Да» и «нет» не говорите.

Не смеяться, не улыбаться.

Вы поедете на бал?

Лизка стоит перед Генкой и то строго, то заискивающе спрашивает его. А Генка поглядывает на небо и никакого внимания на Лизку не обращает. Лизка ждет. Мы тоже ждем, а Генка сидит себе, обнявши колени, и помалкивает.

Лизка стоит, стоит перед Генкой да и не выдержит:

— В чем поедете на бал? В черном пиджаке, да? В черном? — спрашивает она уже громко и сердито.

Иногда Генка, будто проснувшись, глядел на Лизку не то сонно, не то презрительно, а иногда кричал: «Катись ты!» — валился на траву и рассматривал небо.

Когда Генка слышал по радио о том, что знаменитый летчик Валерий Чкалов с двумя другими летчиками совершил дальний беспосадочный перелет, он вовсе потерял покой. Теперь и на тетрадках в школе, и на парте, и на доске мелом — где только можно — Генка рисовал самолеты, большие и маленькие, с одним и с двумя пропеллерами, и непременно с красными звездочками на крыльях и над кабиной летчика. И книжки Генка читал теперь только про летчиков и хотел одного — поскорее вырасти...



БОБАЛИХА

**М**ать рассказывала, что давно, когда в нашем городке открыли татарскую школу, там появилась молоденькая учительница татарка. Поначалу она жила в школе, в комнатке рядом с учительской, и только спустя много лет поселилась в единственном на нашей улице двухэтажном доме, над аптекой, по соседству с аптекарем Серафимом.

Татарская школа была тогда в длинном бараке на берегу Комасихи. Ребята каждую перемену и после уроков торчали у реки. Зимой катались по льду на валенках, весной и осенью мастерили плотики и катались на них, пускали по воде самодельные кораблики и рыбачили.

Однажды во время урока кто-то из ребят нацепил на крючок пол-ломтика колбасы и забросил удочку под окно, как в реку. Крючок под окном по земле «гуляет», леска через подоконник к удочке, спрятанной между стеной и партами, тянется.

В это время под окошком появился щенок. Сцапал он кусок колбасы вместе с крючком и заскулил, сначала жалобно, тонко, а потом разошелся так, что ребята повскакивали из-за парт и кинулись к окошку, друг дружку давят. Учительница пыталась усмирить ребят, но ничего не получилось. А парнишка-«рыбак» растерялся, с испугу дернул удочку, потянул в окно. Удилище изогнулось. Щенок заверещал, как под ножом. Другой парнишка, перевесившись через подоконник, дотянулся до щенка, ухватил его за загривок и втащил, посадил на парту перед «рыбаком».

Щенок вытягивал шею, жался к парте, жалобно скулил и дрожал. Беспомощно открывая маленькую пасть, он мотал головой и наклонял ее все ниже. «Рыбак» подергал-подергал леску, пальцем в рот к щенку полез, но тот, упираясь задними лапками, завыл на весь класс.

Учительница приложила ладонь к груди, другую руку вытянула перед собой и на ощупь, будто слепая, пошла к парте со щенком.

Ребята расступились.

Учительница взяла щенка на руки, неожиданно наклонилась и перекусила леску. Все притихли. Щенок, угревшись на руках, перестал скулить.

Учительница вернулась к столу, села, посадила на стол перед собой щенка и стала гладить его по мягкой коротенькой шерстке. Слезы кривыми ручейками струились по ее скуластым щекам, задерживаясь в еле заметных темных усиках над верхней губой.

Класс замер.

Учительница как-то странно тряхнула головой, рывком притиснула щенка к груди, сильными пальцами разжала ему пасть и, закусив губы, стала проворно ощупывать, шарить во рту. Ребята наблюдали за учительницей. А она, на мгновение замерев, быстро высвободила руку. Щенок коротко взвизгнул. Учительница разжала пальцы, и на стол выпал крючок с потемневшим от крови кусочком лески.

Класс ожил.

Учительница облегченно выдохнула и дрожащими пальцами начала быстро-быстро гладить щенка по мордочке, по лапкам, по пушистому светленькому животу. Другой рукой она все сильнее прижимала его к груди. Затем учительница поднялась и ушла из класса.

Уроков в этот день больше не было.

Учительница с тех пор так же приходила на занятия, так же объясняла новый материал, так же спрашивала и ставила отметки в журнал. Только сделалась она не улыбочивей, строже и перестала прощать ученикам даже малые шалости.

Прошло много лет. Теперь это была жилистая уса-

тая старуха. Спроси сейчас хоть у кого на нашей улице, была ли у Бобалихи когда-нибудь семья, дети, — никто не знает, зато все знают собак, которых она приютила. Собак у нее теперь было восемь и разных-преразных: и длинноухих, и вовсе голых, и таких волосатых, что только глаза, как стеклки, светились из этих зарослей.

Летом Бобалиха под вечер выводила собак и гуляла с ними вдоль линии. В больших карманах старого длинного халата-пыльника у нее всегда лежали кусочки сахара, хлеб и папиросы. Собаки забегали вперед, заглядывали хозяйке в глаза и даже «служили» — становились на задние лапки и перебирали в воздухе передними. Бобалиха бормотала что-то грубым голосом и давала той, что «выслужила», кусочек сахару. Иногда она усаживалась подле ручья и дрессировала своих питомцев: клала перед собакой лакомство и говорила: «Фу!», «Пиль!», «Тубо!», «Хоп!» — и еще какие-то странные слова.

Собаки понимали хозяйку и то слизывали сахар и хрумкали его, то глядели на Бобалиху.

Мы все запоминали: «Фу!», «Тубо!», «Пиль!», «Хоп!» — и после такие же команды подавали Семке. Но Семка наш ничего не хотел слушать, понимать. Он хотел только сахару или хлеба, прыгал на нас, лаял, повизгивал и вилял хвостом от нетерпения. Иногда за Семку принимался сам Генка, прыгал через бревно, показывал Семке хлеб и заставлял его прыгать так же. Семка не хотел прыгать. Он обегал бревно, иногда попутно задира л ногу, оставляя мокрое место, потом подскакивал к Генке и хватал из руки хлеб. Мы шлепали пса по морде и покрикивали на него. Семка ворчал.

Но не только собак привечала у себя Бобалиха. Жили у нее еще две курицы и петух. Курицы эти достались Бобалихе от тети Нюры Исуповой. Как-то решили дядя

Костя и тетя Нюра обзавестись хозяйством, начали с инкубаторских цыпущек. Но как они ни vyhаживали цыплят, как ни берегли, к осени уцелели только две курочки да петушок. К концу зимы и эти курицы зачахли, обезножели. Вот и предложила тогда тетя Нюра полумертвых птиц Бобалихе.

— Тебе, — говорит, — все одно возиться, а мне недосуг. А не возьмешь — выкину в канаву, так же пропадут.

Ожили курицы у Бобалихи, выросли и, наверное, пусть собак привязались к хозяйке. Та же тетя Нюра рассказывала потом, будто курочки и спят вместе с Бобалихой: пристроятся на спинке кровати, как на насесте, и дремлют. И что несутся они зимой и летом без передышки — породистые оказались.

Может, так оно и было. Но мы у Бобалихи никогда не бывали и видеть этого не могли.

И еще была у Бобалихи корова. Когда и откуда она появилась, мы не знали. Корова махонькая, чуть побольше блиновской козы, длинношерстная какая-то, без рогов и вовсе на других коров не похожая. А доила хорошо.

Летом Бобалиха редко пускала свою корову в стадо, чаще пасла ее сама. Она надевала себе за плечи мешок с ляжками, в одну руку брала корзину, другою за веревку вела корову и отправлялась в лес. Возвращались они в сумерках. У коровы, как у верблюда, по бокам свисали и почти тащились по земле мешки с травой. У самой Бобалихи за спиной — тоже набитый травой мешок, а в корзине щавель, ягоды, грибы, цветы — что случалось в ту пору найти в лесу.

Но как ни уставала Бобалиха, с собаками гулять все равно выходила. Только зимой она гуляла с ними помалу. Чаще мы видели, как она, одетая в старый полушубок и подшитые серые валенки, брела из-под горы,

с лесопилки, с двумя мешками, наполненными опилками, а то тащила сено, а то молоко в четвертях несла в диспансер — туберкулезным больным. Причем молоко больным Бобалиха носила так, бесплатно. Это утверждала не только тетя Нюра, а говорили и другие люди, даже Анна Ивановна Черноброва. Она-то уж знала точно.

Играя на улице дотемна, иногда, правда редко, мы видели Бобалиху в доброй и чистой одежде. Это означало, что она собралась или навестить своих бывших учеников, потому что у татар будто бы учителя почитаются вслед за родителями, или в гости к знакомым, или в школу — посидеть.

Как-то дядя Костя Исупов привез порожние конские сани и отдал нам их наовсе: катайтесь, мол, на всех хватит! Мы гурьбой, по команде: «Раз-два, взяли! Еще взяли!» — затаскивали сани на гору, в конец длинного переулка, по которому летом гоняли стадо, кучей валились на них и мчали вниз, до самой линии, с ветром, смехом и визгом. Однажды в переулке неожиданно появилась Бобалиха. В длинной черной бархатной шубе, в шапке с ушами, завязанными под подбородком, она поднималась в гору, нам навстречу. А сани-то уже раскатились, мы и не могли затормозить или повернуть.

Подшибли мы Бобалиху.

Она упала на сани поверх нас и так и съехала до линии. Только сани остановились — мы врассыпную, кто куда, и сани оставили. Бобалиха долго ворочалась в сани, прежде чем поднялась, а когда поднялась, поглядела по сторонам, видимо отыскивая нас, попробовала сани с собой забрать, нам в наказание. Но они же великущие! Бобалиха от этого отказалась и снова пошла в гору.

С тех пор мы стали побаиваться Бобалихи и старались не попадаться ей на глаза.

Осенью тридцать третьего года начались нехватки хлеба.

Мы всей оравой с вечера занимали очередь за хлебом. И Лизка, и Генка, и все ребята в очередь ходили. Стоим, бывало, пересчетку ждем. Пересчитаемся — и по домам бежим, до следующей пересчетки. Одного кого-нибудь оставим дежурить, чтобы очередь не потерять и счетку не пропустить. Прибежим домой, скинем валенки, да так, в одежонке, и вальнемся на пол, где уже постлана широкая постель. Заберемся под стеганое одеяло из клинышков, теплое и такое большое, что на всех хватало, а мать говорила, что оно с поле велико. И только угреемся, задремлем, как уж бежит наш дежурный, на пересчетку кличет.

Торчала в очереди и Бобалиха. Мало того, что она и сама есть хочет, у нее же еще курицы, и собаки, и корова...

Бобалиха и после пересчетки домой не уходила, стояла как вкопанная, с людьми разговаривала мало, думала о чем-то своем. Одни жалели Бобалиху: мол, старость не радость, а когда еще и детей нету, и позаботиться некому, и пожалеть, собаки одни... Другие проклинали Бобалихиных собак, будто они были повинны в том, что люди с голоду маются.

А она стояла и стояла, не ругалась, не оправдывалась, не сердилась. Она ждала, когда рассветет, ждала, когда откроют магазин, ждала, когда ее очередь подойдет.

Мы робели под ее угрюмым взглядом, но, верно оттого что она была такая одинокая, беззащитная и добрая, все больше проникались к ней жалостью и придумывали, как бы ей помочь чем-нибудь.

И опять все придумал Генка. Однажды, когда началась пересчетка, он неожиданно втиснулся в очередь

перед старой учительницей, и ему химическим карандашом черкнули на руке номер. Когда счетчики дошли до нас, Генка уже стоял на своем месте и подставлял руку, чтобы получить номер. Ему и на другой руке размашисто написали номер, уже его собственный. После, когда Генка, толкаясь впереди Бобалихи, оказался у прилавка, он не протянул продавцу деньги, а заявил: «Нам на двоих», — кивнув на Бобалиху.

Парни, Коля и Володя, в эту зиму оставили школу, поступили в железнодорожное училище в областном центре и уехали. В училище содержали на готовом питании и выдавали казенную форму.

Мать поначалу очень переживала, украдкой плакала и все говорила:

— Все дома. Все вместе. А парни — как в поле отсев... Каково им там?

Отец, конечно, тоже переживал, но виду не показывал.

— Вместе не пропадут, — старался он успокоить мать. — Даже хорошо, что они вместе. Парни старательные, толковые и своего добьются.

Вскорости парни приехали на побывку, в форменных шинелях и шапках. Они весь день помогали отцу по хозяйству, будто истосковались по домашней работе. А во время еды и вечером рассказывали про свое житье-бытье на новом месте и про ученье.

Мать после этого понемногу успокоилась.

К середине зимы с хлебом стало вовсе плохо. Мы все время хотели есть. Мать варила жидкую похлебку и пекла хлеб из овсяных отрубей наполовину с картошкой. Караван получались тоненькие, очень тяжелые, все в трещинах.

Мать разломит каравай, похожий на лепешку, и даст по куску каждому. Мы едим эту липкую и очень колючую лепешку, запиваем чаем, подбеленным молоком. Через силу съедали мы эти маленькие кусочки, выходили из-за стола ни сытые ни голодные. Недоверчиво, с тревогой посматривали на мать и все недоумевали: отчего это она сразу разучилась стряпать пышные, запашистые караваи?

Тогда нам часто вспоминалось другое время, другая зима.

Вспоминалось, как спим, бывало, на печке. В школу не идти — выходной или каникулы, а проснемся, как на грех, ни свет ни заря. Лежим, помалкиваем, угревшись на печи, слушаем, как в трубе завывает да потихоньку из-под занавески выглядываем.

На кухонном столе чайное полотенце вдвое раскинуто, и мать на него оладьи со сковородки сбрасывает. Рядом блюдце с топленым маслом да чашка эмалированная, большая, полная тертого мороженого молока. Лежим, поглядываем, слюнки глотаем. И только мать крикнет: «Робята, вставайте! Завтрикать айдате!...» — я да Галка по приступкам слезаем, парни с печки сразу на пол спрыгнут и первыми к умывальнику сунутся. Нинка слезает последняя и, пока слезает, все кричит: «Меня подождите! Ой, меня-то подождите!» А Васютку мать сама ссаживает.

Ополоснемся маленько — и за стол!

И пошла работа! Только носами шмыгаем, а разговаривать или смеяться уж некогда. Гора оладий все уменьшается, тает.

Мать разругавшаяся от жары, счастливая, платок на ухо сбился. Она крутится со сковородником от печки к столу и обратно, сбросит со сковородки оладьи, посмотрит на нас и заприговаривает:

— Ешьте, ешьте, ребята! Вот горяченькие, мягонькие...

А то вспоминалось, как мы редьку с квасом хлебали из общей чашки.

— Ешьте, ешьте! Красивыми, здоровыми да румяными станете! — опять наговаривает мать.

И мы едим. Уж слезы из глаз текут, а мы все едим: красивыми да красными быть охота. И кто-нибудь не удержится, спросит:

— Я уж красный маленько?

— Как не красный? Красный! — улыбается мать...

А то бывало и так: вечер уже, а спать еще рано. Мать и скажет кому-нибудь из старших:

— Полезай-ко на сеновал, принеси рябины на ужин.

Тот зажигает фонарь, забирает решето и отправляется. Принесет полное решето рябины, яркой, чуть заиндевелой от мороза, — и на стол! А на столе уж хлеб нарезан ломтями во весь каравай...

Хорошее было время.

А сейчас вот плохо. Мать как на стол собирать примется, так то и дело отворачивается да передник к глазам подносит. Отцу кусок побольше оставляли. Только что ему такой кусок после тяжелой-то смены? Съест он его, по привычке крошки на столе пошарит, выйдет из-за стола и сигарку свертывать начнет.

Как-то возвратился отец с дежурства и сказал:

— Мать, я билет выписал да отгул взял, дак мы с Клавдией съездим за хлебом, в Шабалино. Сцепщик наш один ездил, говорит, там можно хлеба купить, по килограмму в руки дают... Ден за пять обернемся. Во школу сходишь, объяснишь...

Мать устало опустила на табуретку, смахнула тряпичей со стола и тихо спросила:

— Когда?

...И мы поехали.

В вагон едва протиснулись. Отец усадил меня меж скамеек на чемодан, сам на краешке примостился. Я сидела, сидела и задремала. И увидела во сне, будто много-много гирь килограммовых из хлеба валяются и валяются к нам в чемодан. Одни ржаные, другие пшеничные. Одна хлебная гиря мимо чемодана упала. Я наклонилась, поднять ее хотела, и чувствую, как кто-то сильно схватил меня. Это отец поймал: повалилась я. Поймал и тихонько говорит:

— Проснись, проснись... Скоро приедем. Айда помаленьку к выходу пробираться.

Вышли мы из вагона почти первые. За нами, подталкивая друг дружку, всё высыпали и высыпали люди. Последние уже на ходу спрыгивали: в Шабалино поезд стоит две минуты.

Весь день мы ходили по магазинам и стояли в очередях. Пока вместе ехали в вагоне, люди приметились друг другу и потом уж занимали очередь один на другого. Я один раз куплю хлеба, на другой раз шапку на глаза натяну, как парнишка, то шалюшку повяжу — чтобы не узнали, не заругали чтобы, что хлеба много покупаю. Наловчилась так. Отец килограмм купит, а я уж целых три! Да еще бабы себе сколько на меня накупают!

Притомились за день, посидеть охота, отдохнуть. Из вокзала выгоняют. На улице холодно. Попросились к одним в баню. Ничего, пустили. Пошли мы с отцом, бабы за нами увязались. Ночь переночевали, хлеб кусок к куску в чемодан уложили.

Днем на базаре совсем случайно отец на кусочек мануфактуры — мать положила — выменял бутылку постного масла, длинную-длинную. Отец доволен. Я тоже радуюсь: и хлеб, и масло домой привезем!

Мы еще день стояли в очередях, еще купили хлеба. Вечером кусочками макали в конопляное масло, зеленое, ароматное, и наелись досыта.

Поезд отправлялся наутре, часа в четыре. Отец маленько подремал, а я боялась глаза сомкнуть. В ту ночь много раз поднимался переполох от криков: «Украли!... Батюшки, весь чисто украли-и! Украли-и-и!»

Я сидела на чемодане и крепко держалась за мешок, на котором лежала голова отца.

Началась посадка. Все сбились в кучу, толкали друг дружку, плакали, ругались, протаскивали тяжелые котомки и чемоданы. Один очень толстый и большой мужчина стал подсаживать на подножку молоденькую девушку с портфелем и чемоданом. Подталкивая ее вперед своей широкой грудью, он свободной рукой приподнимал чемодан, а другой высоко над головами держал графин с молоком. Девушка проскочила в дверь, но в этот момент кто-то сильно ударил по графину. Графин разбился, и молоком окатило этого огромного человека с головы до ног.

Получилось замешательство, но не долгое. Сутолока возобновилась, и редко кому удавалось протиснуться в вагон. Как отец втолкнул меня — не помню. Посадил он меня, а сам стал пособлять другим бабам подавать котомки.

Крик, шум! Эти крики не заглушил даже свисток разом, с места тронувшегося поезда. Я, сколько смогла, оттащила мешок и чемодан от двери в сторону и почувствовала, как все сильнее и сильнее начал вздрагивать, раскачиваться и дребезжать вагон: поезд набирал ход.

Вот и хлеба много, даже масло есть, а радости нет ни капельки. И есть больше не хочется, и совсем я не счастливая, хотя так долго о хлебе мечтала и так сильно радовалась поездке.

«Как же папка-то? Где же он? Ой, что же это будет?» — мне сделалось так страшно, что зуб на зуб не попадал и холод пробирался по спине все выше и глубже.

Состав проскрипел тормозами и остановился уже на следующей станции. «Ст. Свеча», — прочитала я трясущимися губами и только собралась выглянуть в дверь, как увидела: вцепившись в поручни, на подножке повис отец.

Я почувствовала, как по щекам моим побежали горячие слезы.

— Ну, что ты, что ты! Испужалась? — увидев меня, заторопился отец. — Ну, полно, полно, — прижимал он большими руками мою голову к своему животу. — Я ведь и на ходу прыгать наострил. Я же сцепщик. Бабы на ходу не умеют. Вот и пособлял. Запрыгнул уж в последний вагон... Ну, ладно, ладно, успокойся. Гляди-ко, сколь мы хлеба с тобой раздобыли! Вот мать-то обрадуется.

Отец утер мне ладонью слезы, взял мешок и чемодан, и мы стали пробираться в вагон. Я маленько успокоилась, но все равно крепко держалась за отцовский рукав.

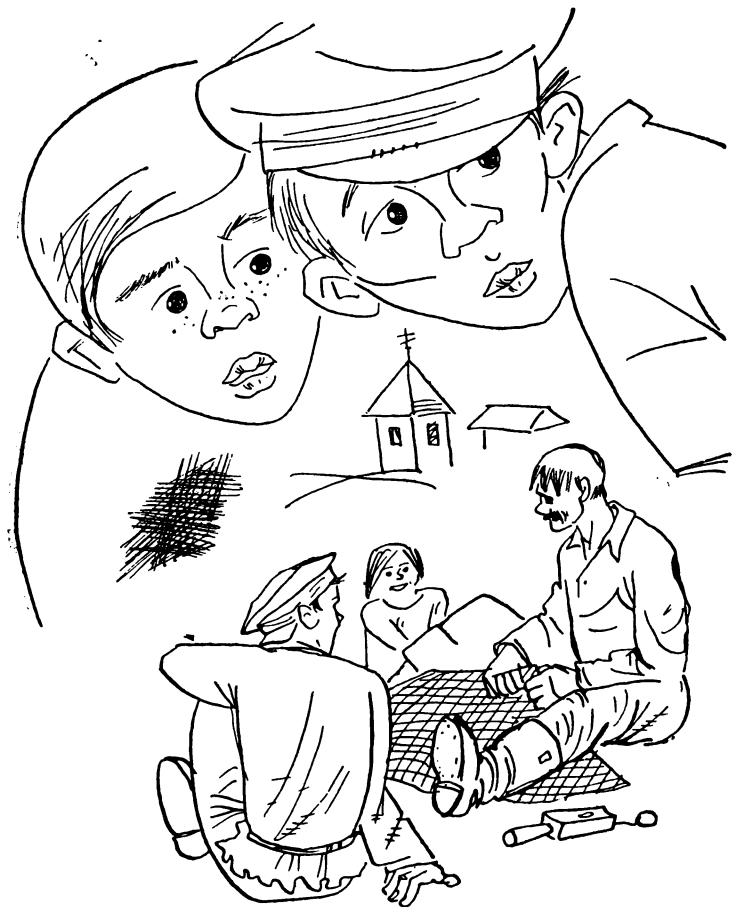
Когда мы вернулись домой и когда радость маленько улеглась, приутихла, мать сказала:

— На днях Бобалиха увела свою корову. В больницу отдала. И от денег отказалась. Я, говорит, выживу, больным тяжелее... Пусть, говорит, поправляются. Нюра Исупова сказывала, будто шла Бобалиха из больницы, так всю дорогу слезами улила: разлучаться тяжело, привычка...

Отец сидел у буржуйки, исходившей жаром, попыхивал своей большущей сигаркой и в раздумье чуть заметно покачивал головой.

Мы притихли. Ждали, что еще скажет мать. А она посидела, на нас, на отца посмотрела, встала и ушла на кухню. Скрипнули возле большого кухонного стола половицы. Мать пошуршала бумагой, потом оделась у порога, сунула под мышку небольшой сверток и вышла из избы.

Отец докурил сигарку, кинул окурок в поддувало печки, а нам кивнул: мол, поиграйте, пока спать укладываться рано. Нонче в очередь не идти, хлебушко, слава богу, есть пока. Помаленьку все наладится...



**НАШЕ  
ПЕРВОЕ  
ДЕЖУРСТВО**

**Т**ем летом, в начале которого был здоровенный ливень и водой унесло у нас из огорода всю землю, а потом до самой поздней осени стояла засушливая жара и свирепствовали пожары, началось дежурство по улице с колотушкой.

Днем пожары случались не часто, зато редкая ночь проходила спокойно. Много домов, больших и маленьких, сгорело тогда в нашем городке. Особенно поредели бараки на Жилкооперации. И тогда жители уговорились дежурить ночами по очереди, чтобы в случае чего поднимать всех и вызывать пожарную команду. И теперь каждый вечер, когда розовое облачко вечерней зари вытягивалось в узенькую полоску и, чуть порябив, медленно растворялось в реке, а вокруг делалось тихо и прохладно, наступала пора ночного дежурства.

Раз или два дежурил отец. Следующее дежурство совпало у него с ночной сменой, и тогда ходили с колотушкой мать и Ольга. Но Ольге утром на работу, а матери надо и печь топить, и со скотом управляться, и семью кормить, и делать дела по хозяйству. Кроме того, она до изнеможения уставала, таская с парнями чуть не за три версты землю в огород. Жалко нам сделалось мать и отца. И вызвались мы вместо них с колотушкой дежурить.

Мать обрадовалась.

Отец облегченно вздохнул и стал собираться на смену.

Узнали другие ребята и тоже стали дежурить по ночам вместо родителей. Да еще уговорились дежурить не по одиночке, а артельно, чтоб не так страшно было. Собирались ребята из четырех домов и дежурили подряд четыре ночи, а дальше уж другие. Мы уже отдежурили две ночи — за Исуповых и за Князевых. Осталось подежурить за нас и за Стрижовых.

Мы вышли из дому, чтобы подождать остальных. И только присели на полянке, как тут же явились Верка

Князева и Лизка с Танькой. Не было только Генки. А вот и он перемахнул через ручей и в три прыжка оказался рядом с нами.

Лизка щелкнула колотушкой — и мы отправились на дежурство. Как всегда, сначала пошли в сторону оврага. Когда проходили мимо дома Князевых, нас окликнул дядя Володя. Он сидел на лавочке у ворот, курил трубку и, видимо, собирался в поездку.

Дядя Володя был уже в мазутной куртке, в рабочих ботинках. На лавке рядом с ним лежала форменная фуражка с перекрещенными молоточками над козырьком. Пухлые щеки его горели румянцем, черные усы весело топорщились, щелочки глаз поблескивали в сумерках.

Семка подбежал к дяде Володе, но только тот собрался его погладить, отпрянул в сторону, как ужаленный, твякнул и подбежал к нам, проворно работая лохматым хвостом.

— На дежурство народ отправился? — вынув изо рта трубку, спросил Веркин отец.

— На дежурство, дядя Володя! — дружно ответили мы. — А вы тоже?

— Тоже, тоже. Вот мать вынесет мой походный сундук — и отчалию. Верунька, — обратился дядя Володя к дочери, — я в поездку уезжаю. Мать одна. Долго-то не ходила бы. Тут такая гвардия — и без тебя, небось, справятся...

— Они же со мной дежурили, пап, — потупилась Верка, с мольбой поглядела на отца и первая двинулась прочь от дома.

Мы и колотушили по очереди: один берет в руки эту самую колотушку — пустую в середине деревянную колодку, к концу которой на недлинном шнурке привязан деревянный шарик. Когда потряхиваешь колотушкой вверх-вниз, шарик ударяется о колодку и стучит сухо, с

прищелком. Стук этот разносится далеко и тревожит ночную тишину. Колотушить мы старались нарочно громче — так и идти веселей, и люди на нашей улице, слыша колотушку, могут спокойно отдыхать до утра: ночной дозор на посту.

Пройдет колотильщик четыре-пять домов — и другому колотушку передает. Каждому перепадало колотушить один раз в один конец, один раз в другой, а за ночь доставалось раз по двадцать, а то и больше.

Улица начиналась у станции и тянулась вдоль железнодорожной линии далеко-далеко, до самого оврага, за которым, как нам тогда казалось, был край света. Несмотря на то что нас много, до самого конца улицы, до оврага мы все-таки не доходили: забираться на край света побаивались. Ближние дома, соседские, мы знали наперечет, и тут шли смело, шумно, весело.

Незаметно добрались до часовни. В часовне этой когда-то служил священник, и люди ходили туда молиться. Но потом ее закрыли, и она быстро пришла в запустение. Окна в ней были выбиты, стены пестрели разными надписями и непристойными рисунками. Ходили слухи, будто в ней теперь скрываются по ночам разные жулики. За часовней опять шли деревянные дома. Здесь мы ничего не знали, никогда сюда не бегали.

Удаляясь от часовни, мы замедляли шаги, и тот, кому выпадала очередь, грохал колотушкой так, что в ушах делалось больно, а Семка ни с того ни с сего принимался громко, заливисто лаять, даже вырывался вперед, отчаянно тявкал и, трусовато виляя хвостом, бежал обратно, путался под ногами. Мы Семку не останавливали, не ругали, что гавкает попусту, а, наоборот, громким шепотом науськивали его, пинали в мягкий зад.

— Семка, усь! Усь! Взять его! Взять! — наперебой распаляли мы нашего помощника.

Семка опять выбегал вперед, заливался пронзительным лаем и мчался обратно.

Летняя ночь короткая и не очень темная. Однако же, уходя вдаль от часовни, мы робели все больше. Лизка и Генка принимались разговаривать по-взрослому громко и угрожающе. У них это здорово получалось.

— Попадись мне сейчас эти поджигатели! Одним махом прикончу! — грозно басил Генка.

Голос у него был с хрипотцой, а в ночи, подражая мужику, Генка гремел так, что хоть на кого страху нагнать мог.

— Пересадить их всех давно надо! Шпану несчастную! — выкрикивала Лизка Исупова. — И добьются! — еще звонче грозила она. — Попадутся!..

Лизка при этом подбоченивалась, выставляла вперед остренький подбородок, и вид у нее был такой, будто она открытой грудью напирала на невидимого врага — поджигателя и хулигана.

И все-таки по спине начали ползать мурашки, когда вдали, едва различимые, показались тополя над оврагом. На этот раз Лизка, заметив тополя, сделала еще шаг-другой и прокричала в пространство:

— Эй, вы! Не больно там!..

После этого все мы согласно повернули назад.

Обратно идти веселей. Когда дошли до часовни, Генка погрозил кулаком пустым окнам с железными решетками. И мы пошли дальше.

У Чернобровых светилось единственное окно, выходящее в огород.

— Иосиф Григорьевич, наверно, лежит, книжечки да журнальчики почитывает. Днем-то некогда, — уважительно рассудил Ленька.

— Наверно, — отозвался Генка. — А мы зато как пограничники в ночном дозоре... — Но в это время у Бли-

новых во дворе загремела цепью собака и бухающе рывкнула несколько раз. — Да ладно, не шуми, — поморщился Генка, обернувшись к блиновской оgrade. — Не больно испугались. Лучше бы служила на пограничной заставе да шпионов ловила бы. А то как худая дворняжка, — необходимо корил Генка овчарку. — Вот Семка, то ли дело — дежурство несет!

Все оживились.

— Вж-ж-ж-ж! — Генка неожиданно раскинул руки, нагнулся вперед и побежал, изображая самолет. Сделав несколько виражей, Генка вырулил в сторону, по пологой камешниковой насыпи взбежал на линию, там еще плавно покружился и сел на рельсы — приземлился.

Поднялись на линию и мы. Тоже расселись на рельсах. Из-за «школьной» горы наполовину выкатилась серебристо-голубая луна. Липы, что спускались по косогору к лесу, сделались вовсе черными и неподвижными. Другой склон горы, спускавшийся к линии, зарос редким ельником, и высвеченные луной елки отдавали холодом.

Внизу журчал ручей. Он протекал под линией по бетонной трубе и выбегал из нее веселый, журчистый, будто радовался простору и свету.

Ленька покидывал в ручей мелкие камешки. Они булькали и тут же исчезали, даже круги не успевали расплываться.

Вдали стальной изогнувшейся лентой виднелась река Комасиха. В том месте, где она огибала завод и круто уходила в сторону, засветился огненный поток: это в огромном ковше привезли и вылили мартеновский шлак. Место так и называлось — шлаковый отвал. Вылитый шлак медленно растекался огненно-каленным потоком, густел, делался малиновым, затем сизым, постепенно переставал отсвечивать, чернел и потом долго еще отдавал жаром.

— Вчера парни с Транспортной улицы ходили туда печенки печь. Вот сходить бы! — вздохнул Генка.

— Далеко больно, — отозвался Ленька, — а то сходили бы.

Многие ребята ходили к шлаковому отвалу с ночевой. Накопают в сумки картошек, заберут удочки и отправятся. Выберут место, для рыбалки удобное и чтобы от отвала недалеко, разложат на каленый шлак картошки, припорошат крупной золой — и на берег. Пока закидушки наживляют да забрасывают, печенки уж готовы.

Но шлаковый отвал далеко. Это только посмотреть отсюда — кажется близко, а так идти да идти. Генка с Ленькой только мечтают о том времени, когда и сами с ночевой ходить туда станут. Попроситься же со старшими ребятами не решаются: вдруг опять что-нибудь стрясется, как тогда с Романом Блиновым...

Танька Исупова пододвинулась к Лизке, платье на коленки натянула и тихо сообщила:

— Там недавно мужик один сгорел. Лег спать и сгорел...

— Ага, — подтвердила Лизка. — Папка рассказывал. Может, пьяный был, может, усталый. Прилег отдохнуть — тепло, и не почувствовал, как гореть начал...

— Гореть — это страшно, — как взрослый, покачал головой Ленька.

— А ты помнишь, как папка наш тогда чуть не сгорел, когда за карасями ходили? — спросил Генка.

— Ага. Было дело, — хохотнул Ленька.

Дядя Егор никогда в жизни не был рыбаком. Но прослышал как-то, что на Белоусе в озерах карася развелось видимо-невидимо — хоть руками лови! И караси все жирные, как поросята, крупные... Он где-то раздобыл небольшой бредень, уложил его вместе с едой в заплечный мешок, забрал Генку с Ленькой и отправился.

Путь неблизок. Пока добрались, уже начало смеркаться. Не теряя времени, сразу принялись за дело.

Генка с Ленькой брели подле одного берега по пояс в воде, дядя Егор с другой стороны. Озеро было узкое, как арык, и длинное. Карась сначала попадался хорошо, но последние заходы были почти пустые — пять-шесть рыбешек.

«Вычерпали!» — решил дядя Егор и направился к другому озеру. Это было пошире, у берегов густо заросло осокой, камышом и желтыми лилиями. У дяди Егора деревянная нога глубоко увязала в жиже, путалась в водорослях, и, пока он ее вытаскивал, бредень ослабевал, караси поверху уходили из сетки.

Генка стал помогать отцу. Ленька остался один. Как по шаткому, податливому дну, шагал он по водорослям, всматривался в воду, тянул бредень. Все было нормально, пока в водорослях не начали попадаться провалы. Как только Ленька угадывал в провал и терял под ногами опору, он бросал палку, привязанную к бредню, и выскакивал на берег.

Генка глядел на Леньку, на всплывающий бредень и плевался от досады. Дядя Егор топал деревяшкой, бил себя по бедрам руками, кричал «ечмену кладь» и другие слова, которых никогда не произносил прежде. Ленька виновато забредал в воду, подбирал палку и шел, пока снова не оступался...

Усталые и расстроенные, разводили ребята костер. Дядя Егор сопел трубкой, отвязывал деревянную ногу и молчал. Он пристроил кое-как сушить намокшую деревяшку поближе к костру, отжал и маленько подсушил штаны, портянку, надел на себя, затем натянул телогрейку и улегся к костру спиной. Парнишки вырыли под кустом ямку, сложили в нее карасей, прокладывая их осокой, затем подожгли огонь и тоже улеглись.

Среди ночи они проснулись от какой-то возни, выкриков дяди Егора... Телогрейка на нем дымилась. Он катался по траве, ругался, искал деревянную свою ногу и все хватался за грудь, пытаясь расстегнуть пуговицы на телогрейке, но не успевал и снова начинал кататься.

Ленька с Генкой растерянно глядели на него и не сразу поняли, что произошло. Генка догадался первый, бросился к отцу и покати́л его, как чурбак, в реку.

Тяжело плюхнулся дядя Егор в воду, взвыл протяжно и стал шумно барахтаться. Он с трудом выбрался из воды и пополз к огню. На телогрейку налипли раздавленные водоросли, струйками скатывалась вода, и дядя Егор походил в этот момент не то на черепаху, не то на водяного. Ленька посмотрел на него, упал на траву вниз лицом и, загребая руками траву, трясся от смеха.

Генка сдерживался из последних сил, суетливо помогал отцу раздеваться, скидал в костер все дрова, заготовленные на ночь, еще раз оглядел отца, почесал бородавку, пнул Леньку и помчался в кусты. Ленька соскочил и бросился за ним.

Мальчишки поджимали животы и долго, до слез хотали, пока не обессилели. Наконец они появились у костра, уселись, стараясь не смотреть на дядю Егора.

— Где улов-то? — через некоторое время сердито спросил он. — Рыбаки, ечмена-то кладь!

Ребята раскидали завянувшую осоку и стали бросать рыбу в мешок. Затем свернули бредень и уложили его поверх рыбы. Дядя Егор с кряхтеньем поднялся и, припадая на деревянную ногу, пошел вдоль берега, искоса заглядывая в темную воду...

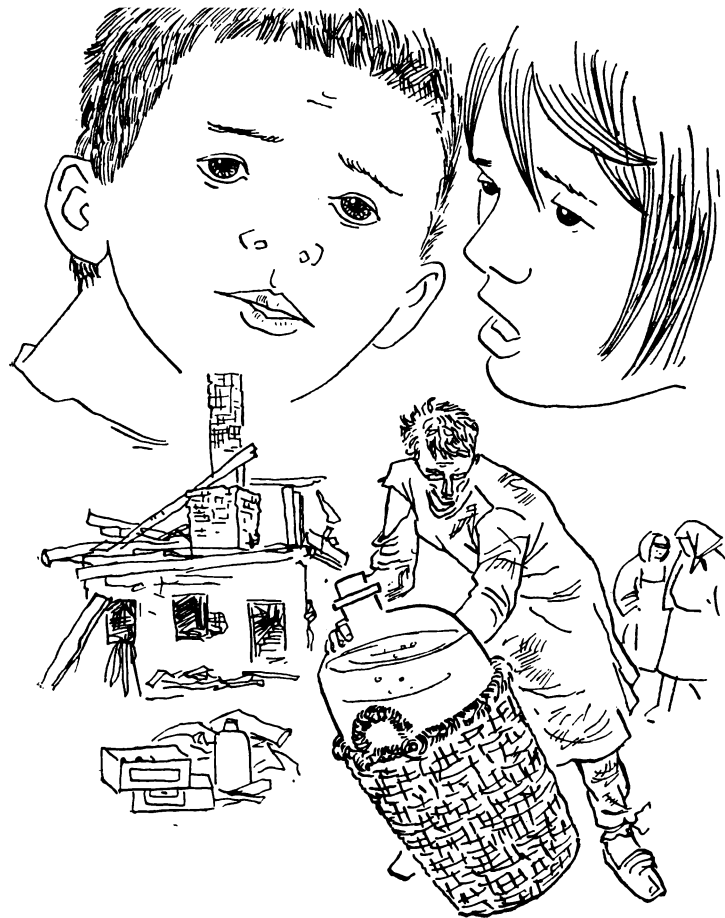
Недолго еще посмеялись, повспоминали и замолкли. Вылитый шлак остыл, сделался невидимым.

— Какая луна-то большущая высунулась, — удивилась Галка, посмотрев на «школьную» гору.

Я тоже посмотрела на луну, потом на тусклый огонек в нашем кухонном окне: мать занавешивала лампочку полотенцем, а вовсе свет не гасила, потому что малые ребята часто просыпались ночью, то по нужде, то пить, и сразу же представила, как ребятишки сладко посапывают во сне.

Генка поднялся первым, взял у Лизки с коленей колотушку, несколько раз ударил ею по рельсу, затем спустился по тропинке к аптеке и пошел впереди, выстукивая колотушкой что-то похожее на барабанную дробь.

Эта ночь, как и вчерашняя, как и первая, прошла спокойно. В душе мы немножко сожалели: каждому хотелось сделать что-нибудь смелое, хотя все мы понимали, что для того и дежурства, чтобы все было спокойно.



**СЕРАФИМ**

**С**оседи Бобалихи, аптекарь Серафим Денисович Дубов, жена его Манефа Павловна и дочка Наташа, люди были тихие, уважительные и все трое очкарики.

Серафим Денисович и продавцом работал, и лекарства готовил вместе с женою, а она и посуду мыла, и уборку в аптеке делала. Наташа училась в первом классе, а после школы с большой, чуть не до полу, коричневой папкой ходила обучаться музыке.

Серафим — так звали мы его про себя — сколько помнили, все время работал в этой аптеке. Мы часто, даже слишком часто ходили в аптеку, а Серафима считали своим первым другом. Отворим, бывало, дверь и по одному, на цыпочках, будто в больницу, войдем в светлое и чистое помещение, пропитанное больничными запахами. Встанем в сторонке, чтобы людям не мешать, и ждем.

Серафим за прилавком.

Лицо у Серафима тонкое, бледное, с реденькими веснушками на небольшом, аккуратно, как лопаточка, срезанном носу. Губы у Серафима полные, глаза светло-голубые и ласковые. Бровей и ресниц почти незаметно, а светлые прямые волосы упрятаны под белую шапочку-колпачок. Голос у Серафима тихий, и весь Серафим очень тихий и очень добрый. Кто бы ни вошел в аптеку, хоть взрослый человек, хоть ребятишки, Серафим тут же поправит очки в тоненькой оправе, широко расставит худые руки на краю прилавка, чтобы не закрыть витрину и не выдавить стекло, чуть наклонится вперед и скажет:

— Я вас слушаю.

Приметив нас, столпившихся возле окна, он тут же пройдет за прилавком, остановится напротив, так же обопрется о край витрины и так же скажет:

— Я вас слушаю.

Мы маленько потопчемся, помолчим, и кто-нибудь робко спросит то, что спрашиваем всякий раз:

— У вас есть пустые коробки?

— Вам коробки нужны? Минуточку. Я сейчас посмотрю.

Серафим ненадолго уходит за перегородку и появляется оттуда с охапкой разномастных коробок: больших и маленьких, низких и высоких, оклеенных картинками и вовсе не оклеенных, из-под одеколона и из-под лекарств. Серафим складывает коробки на прилавок, подвигает их к нам, улыбается:

— Вот. Возьмите, пожалуйста! И можете приходить еще.

Мы забираем коробки, хором благодарим Серафима и пятимся к двери.

Но ходили мы в аптеку не только за коробками. Мы часто приносили туда сдавать пузырьки и флакончики. Насобираем их, перемоем и несем. Входим опять на цыпочках. Пол в аптеке покрашен желтой краской и до того чист, что даже ступать на него боязно. В ясный день солнечные зайчики играют на полу.

Мы выстраиваем пузырьки на краю прилавка и терпеливо ждем, когда Серафим освободится и к нам подойдет. И как только он скажет: «Я вас слушаю», — мы тут же подталкиваем к нему посуду. Он внимательно осмотрит каждый пузырек, сосчитает и выдаст нам денежную сумму, как он называл деньги, и не обманет — не такой он человек!

Нынче пожаров почти не было, но дежурства продолжались, потому что лето опять стояло сухое и ветреное, для пожаров самое благоприятное.

Мы возвращались от часовни. Танька Исупова колотушила. Верка Князева и наша Галка вместе с Танькой шли впереди. Семка плелся за ними. Лизка помахивала

рукой, в которой была зажата ситцевая косынка, другую обняла меня за плечи и тихо, с печалью пела:

Под частым разрывом гремучих гранат  
Отряд коммунаров сражался.  
Под натиском белых, наемных солдат  
В расправу жестоку попался...

Генка и Ленка подпινывали камешки, слушали Лизкину песню.

По линии прогремывал товарный поезд. Когда он скрылся за поворотом, на подходе к мосту, сделалось еще тише, и песня полилась еще звучнее и печальнее.

Пред ними тут вышел старик генерал,  
Свой суд объявил беспощадный.  
И всех коммунаров он сам подвергал  
Жестокой, мучительной казни.

— Самого бы, гада, так! Понравилось бы? — не удержался Генка.

Лизка смолкла. Разговор после печальной песни не клеился.

Посидели недолго возле ручья, поговорили и направились дальше, в сторону станции. Танька оглянулась на аптекарский дом и сказала:

— У Серафима вон печка топится. — Поежилась и сунула мне в руки колотушку. — На.

— Чо мелешь? Кто по ночам печи топит? — взъелся Генка. У него отчего-то вдруг испортилось настроение. Помолчал, поцарапал бородавку над глазом и уже раздумчиво добавил: — Хотя могут и топить. Днем-то опасно: погода жаркая стоит...

Я, постукивая колотушкой, перепрыгнула через ручей и еще раз, уже внимательней посмотрела на двухэтажный дом, где аптекарь Серафим да Бобалиха живут. И вижу: дым-то не из трубы идет, а из-под крыши.

— Ребята, Серафим горит!

Все растерялись, слова выговорить никто не может. Раньше других опомнилась Лизка:

— Будить всех надо! Поднимать! Чего стоите? — Лизка подтолкнула Таньку: — Папку буди! — а сама помчалась к исходившему дымом аптекарскому дому. Она вмиг оказалась у калитки, подергала, подергала ее — не открывается, перемахнула через загородку, зацепилась платьем, рванулась — и вверх по лестнице.

Лизка била в дверь кулаками, пинала ее и истошно кричала:

— Серафи-и-им! Дом ваш горит! Серафи-и-и-им! Пожар ведь, Серафи-им!

Мы ринулись по сторонам, барабаним в двери, в окна, блажим не своими голосами.

— Ечмена-то кладь! Да что же это такое, что за напасти? — выбежал из ограды дядя Егор. Он, взлохмаченный, без фуражки, в нижней рубаше, не заправленной в брюки, припадая на деревянную ногу, быстро запрыгал подле линии в темноту, к станции — требовать паровоз с водой.

Костя-околыш в тапочках на босую ногу, широко раскинув руки, мчался под гору, на конный двор — распорядиться, чтобы коней запрягали и воду бы в бочках везли.

Пока мы обежали всех соседей, дом уже взялся огнем. Пламя охватило углы и ломкими желто-фиолетовыми языками лизало прокопченные бревна. Народу уже набралось много. Шум стоял невообразимый, и светло на улице сделалось, как днем. Нет, не как днем, а будто тысяча ламп была зажжена и освещала далеко всю округу.

— У-у-ух, как пластает! — выдохнул Ленька и побежал уж было к горящему дому, но мать остановила, подала ему в руки беремя половиков, которые от праздни-

ка до праздника лежали у Ольги под матрасом. Ленька залез на крышу сеновала и стал застилать ее половиками: на сеновале-то сено еще осталось, если вспыхнет — всей улице не сдобровать! Головешки далеко разлетаются, искры и того дальше.

Антон с Ольгой впробегу таскали из ключа воду, подавали Леньке ведра с водой, и он поливал ею разостланные половики.

Дом аптекарский пылает вовсю. Близо уж подбежать нельзя: искры падают, и глаза от дыма щиплет. Лизка протиснулась сквозь толпу вперед. Я — за ней. За мной Галка с Танькой продираются. Крики и рев все сильнее. Собаки Бобалихи воют.

Лизка руками оттеснила нас немного назад и неожиданно ринулась к дому в ту сторону, откуда доносился собачий вой.

— Ли-и-и-из-а-а! — почему-то шепотом крикнула я. Но Лизки уже не было видно. — Ли-и-изка-а! — заревела я. — Куда ты? Сгоришь ведь!.. — Но голос мой терялся среди криков и шума.

Фаина Блинова молча пробиралась меж людьми к горящему дому с полными бадьями на коромысле. Ее толкали. Вода расплескивалась, но Фаина упорно пробивалась вперед. Ни слова не говоря, она вылила воду в бочку и снова направилась к колодцу.

Появилась тетя Нюра Исупова. Юбка ее подоткнута за пояс, видны грязные голые коленки. Она как мыла в поликлинике полы, так и прибежала. Отмахиваясь от дыма и раскаленного воздуха, она потопталась около дома, поохала, но тут увидела нас, оглядела каждого по очереди:

— А Лизка где? Лизавета?..

Я не знала, что ответить тете Нюре. Она взяла Таньку за плечи и подтолкнула в спину — прочь от пожара.

— Айдайте, айдайте отсюда! — поворачивала и подталкивала нас в спины тетя Нюра, и тут же принялась подхватывать на лету и оттаскивать узлы и подушки.

В сумятице этой гремел, терялся срывающийся на хрип голос Кости-околыша. Он пытался навести порядок, чтобы люди не мешали лошадям с бочками подъезжать ближе к дому.

Из окна первого этажа метнулась фигура в белом, длинная, тощая, переломившаяся под тяжестью.

«Да это же Серафим! — ахнула я. — Добро спасает. И добро-то аптечное!»

Серафим отбежал от дома, поставил на землю коробку, доверху набитую коробочками да пакетиками, перевел дух и снова в дом ринулся. Мы не успели еще опомниться, а Серафим уж другую ношу тащит. Халат сажей перепачкан, дымитесь весь. Под халатом кальсоны белеют, и тесемки развязались, болтаются... Поставил он вторую коробку рядом с первой, похватал ртом воздух, и я расслышала:

— Лекарства гибнут... ценности... инструменты...

Из-за дома появилась Бобалиха. Как уж она там оказалась? Выход-то с этой стороны! В волосах у Бобалихи бумажки, трубочками скрученные, запутались. Она сухими пальцами сжимала седые виски, что-то бормотала и все оглядывалась на дом. Вернулась было обратно, но ее обдало каленым едким дымом, и она отпрянула, прикрыв глаза рукой.

Собаки семенят следом за хозяйкой. Люди кланут собак на чем свет стоит — под ногами путаются, — а заодно и Бобалиху. Собаки скулят. Бобалиха все бормочет и все мечется к дому и обратно.

Из окон второго этажа еще летели узлы, посуда, стулья, одежда. Люди что-то подбирали, оттаскивали в сторону, что-то топтали.

Мне показалось, что в одном из окон на втором этаже мелькнула Лизка, швырнула вниз, в толпу, узел и скрылась. Я начала пристальней, как только могла, всматриваться в окна, но тут снова появился Серафим. Он катил за горлышки две бутылки, вставленные в высокие плетеные корзины. Одного стекла в его очках уже не было, другое располовинила трещина. Лицо багровое, волосы опалены, один рукав обгорел и обнажил вздувшуюся пунцово-красную руку.

Сколько раз Серафим еще исчезал и появлялся — мы уж и не знали. Только замирали, когда он скрывался в горящем доме, и облегченно вздыхали, увидев аптекаря живым. А он шатался, как пьяный или больной, кусал губы, тряс головой, поправлял разбитые очки и все таскал, таскал...

Какие-то мужики подхватили Серафимом вытащенные коробки, понесли к линии. За ними другие, третьи. Вдруг двое молодых, незнакомых оттащили недалеко коробки, поставили на землю в стороне и принялись в них рыться.

— Ой! Они воруют! Серафим спасает, а они...

Ленька в этот момент рядом оказался. Услышал, что я кричу, подскочил к мужикам, растолкал их, крикнул Галку с Танькой, приставил к коробкам, как часовых, и приказал глаз не спускать. Семку с ними сторожем определил. Семка будто понимал, что к чему, скалил зубы, если кто проходил поблизости.

А я снова всматривалась в окна горящего дома, все надеялась увидеть Лизку.

Стропила рухнули, провалились, и пламя сразу охватило весь дом. Поднялся треск, ухали бревна. Минами разлетались по сторонам горящие головешки. То там, то тут раздавались заполошные, испуганные крики, когда головешка попадала в кого-нибудь.

Все подъезжали и подъезжали лошади с пожарными бочками. Но что эти бочки для такого-то пожара? Такой домина пластает, а тут бочки... Люди шумели на пожарников: «Машину пригнать не могли?..»

Пожарникам в такой момент оправдываться некогда, и объяснять что к чему тоже некогда.

Со стороны станции послышался шум поезда.

— Паровоз! Паровоз! Паровоз! — кричали отовсюду.

Мы тоже кричали, что пришел паровоз! Что приехал дядя Егор! Что воду привезли! Прыгали и кричали.

Паровоз, застилая уже светлеющее небо дымом, пустил пар, еще попытел и остановился. С тендера и откуда-то с боков шариками прыгали пожарники в железных касках и, быстро-быстро раскатывая брезентовую кишку, тянули ее к аптекарскому дому.

Дядя Егор спрыгнул с подножки, не удержался на здоровой ноге и кубарем скатился под откос. Но тут же проворно соскочил, утер рукавом потное лицо и, придерживая привязанную деревянную ногу, поспешил вслед за пожарниками.

Сильнейшая струя вырвалась из брандспойта и стала сбивать языки пламени. Они сопротивлялись, угасали неохотно. Обугленные бревна потрескивали, шипели, некоторые, собравшись с силами, снова чадили и разгорались. И все-таки сила их убывала на глазах. Языков делалось все меньше и меньше, и теперь уже шум бьющей воды давил и глушил треск и шорох горения.

В паровозе воды много, не то что в бочке, и пожарники ее не жалели. Они с ожесточением пригибали огненные всполохи сильной струей и топили их в быстро скапливающихся и так же быстро высыхающих лужах и ручейках.

Страшный шум, в котором смешалось всё: и треск горящего дерева, и крики людей, и жужжание воды —

неожиданно разорвал отчаянный вопль Манефы Павловны.

«С Серафимом что-то случилось! Серафим!..» — похолодело у меня внутри, и я ринулась на крик.

На дверной створке лежал Серафим. Глаза затянуло опаленными веками, волосы где обвисали мокрыми прядками, а где топорщились коротеньким рыжим мхом. Из-под халата виднелись сизые ожоги. Очки с пустыми колечками оправы покачивались, зацепившись за отвороты халата. Кожа на неподвижно лежавших руках, покрытых багровыми пятнами, наливалась пузырями.

Я смотрела на Серафима, зажимала ладошкой рот, чтобы не закричать от отчаяния, и ждала, когда же, наконец, Серафим откроет глаза. Ребята тоже не шевелились. Мы не могли поверить, что Серафим умер.

Манефа Павловна припала подле мужа на колени, тихо плакала и, то и дело протирая свои очки, осторожно снимала с него истлевшие лоскутья одежды, высвобождая обожженные места.

А я вдруг увидела на тонкой шее Серафима остро выпирающий кадык, увидела, как он трудно и редко перекачивается от подбородка к ямочке на груди и от ямочки на груди к подбородку.

— Живой! Миленький Серафим! — облегченно, со всхлипом выдохнула я. И Серафим, наверное, услышал меня и хотел уж что-то сказать, но губы его скривились от боли и синяя, почти черная кожа на левой щеке страшно зашевелилась.

— Что же это вы, Серафим Денисович? В самое пекло... — раздался спокойный голос.

— Э-э... Я вас...

— О себе вот не подумали...

Жена Серафима заткнула рот платком и еще ниже уронила голову. Очки свалились.

— Осторожность никогда... — Иосиф Григорьевич наклонился над Серафимом, нащупал пульс, помолчал, послушал, потом посмотрел на Манефу Павловну, подал ей очки и показал в сторону тарантаса. — Давайте его тихонько в больницу...

Ефим Блинов, Костя-околыш и еще мужики подхватили дверную створку и, придерживая Серафима с боков, понесли к подводе. Как уж они там его устроили, как усадили — нам увидеть не удалось, потому что лошадь сразу же окружили люди и подступиться было невозможно.

Серафима увезли.

Пожар затихал. Пламя сбилось в кучу, дыбилось на середине, а раскиданные головешки и раскатанные бревна еще шаяли.

Мы побежали к линии. Неподалеку от Галки с Танькой сидела на желтом кожаном чемодане Бобалиха. Вокруг нее, даже на коленях, ютились собаки, тихонько повизгивали от страха и все жались к хозяйке.

Возле линии — целый табор. Кучами свалены вещи. На узлах сидели притихшие люди. Появились Генка с Ленькой, перемазанные, запыхавшиеся. Они сначала вытаскивали имущество из дома Стрижовых, а потом помогали другим. Парнишки постояли немного, оглядели табор и направились к пожарищу, вместе с мужиками раскатывать бревна.

Фаина Блинова, как заведенная, все носила и носила воду в бадьях. Теперь ее уже никто не толкал, и она выплескивала воду прямо на тлеющие бревна. На Фаину невыносимо было смотреть, но остановить, окрикнуть ее никто не решался.

Князиха стояла перед ворохом своих вещей и за что-то сердито отчитывала Верку.

Танька убежала домой, но скоро вернулась.

— Лизка дома! Где-то руки сожгла! Мама намазала их пенками с молока и велела ей лежать.

К нам подошла Манефа Павловна, поглядела сквозь очки заплаканными глазами и легкой, худенькой рукой дотронулась до моей спины:

— Идите домой.

— А Серафим?

— Бедный Сима! — Манефа Павловна всхлипнула и уткнулась лицом в ладони.

Табор возле линии редел. Люди уносили уцелевшие пожитки по домам. Сделалось тихо, и еще сильнее потянуло удушливым запахом гари. Казалось, весь воздух был пропитан им.

Паровоз ушел, и по линии снова начали ходить поезда, даже чаще, чем обычно: скопилось за это время. Лошади с бочками тоже уехали. Несколько пожарников продолжали раскатывать дымящиеся бревна: не затаился ли где огонь и не раздуло бы его ветром. К ним подошел Костя-околыш, поговорил немного и отправился домой. Ему скоро на работу.

Сделалось неприятно и холодно. Приближался мутный рассвет. За «школьной» горой небо пожелтело — всходило солнце.

Посередине пожарища неуклюжей жирафой с прямой угловатой шеей торчала закопченная и обшарпанная печь с длинной трубой. Неподалеку от нее — скрюченный, одним концом вонзившийся в землю, валялся остов, похожий на скелет невиданного чудовища с почерневшим железным позвоночником. По обе стороны его беспомощно обвисали проволочные ребра, тонкие, как волосья, и потолще. Мы оторопело рассматривали этот странный, искореженный огнем предмет, стараясь представить, что же это такое. И только потом узнали, что раньше это было пианино.

Обычно в такой предутренний час мы обходили с колотушкой улицу из конца в конец последний раз и расходились по домам. А тут не знали, что делать. Стояли кучкой в стороне и переживали свою большую, непоправимую вину.

Дядя Егор устало обошел вокруг пепелища, увидел нас:

— Дежурство кончилось. Отдыхайте. А это, — показал он трубкой, зажатой в руке, себе за плечо, — вина не ваша. Эх-хо-хо, ечме-она кладь, — тихо вздохнул он, передернул плечами и пошел к дому. Постоял возле вытасченного скарба, взглядом отыскал ножную машину, забрал ее в беремя и, сильно припадая на деревянную ногу, унес в дом. К остальному он не притрагивался: управятся без него.

После пожара мы часто, почти каждый день приходили на пепелище и рассматривали обгоревший железный хребет, ничем уже не напоминающий пианино, дергали за обвисшие струны. Они не тенькали, а податливо, беззвучно обрывались. На остывшей изуродованной печке сидела тощая рыжая кошка и громко мягала. Лизка подкрадывалась к кошке, ласково звала ее, манила, пыталась взять и унести домой. Но стоило Лизке протянуть руки — кошка выпускала когти, щерилась и забиралась по трубе выше. Галка с Танькой разгребали золу, перемешанную с землей, и без радости отыскивали уцелевшие пузырьки, вытряхивали из них мусор, складывали на обгоревшее бревно и скоро о них забывали.

После и кошка куда-то делась, и железяка, похожая на чудовище, исчезла. Печку люди разобрали и уцелевший кирпич на тачках увезли всяк себе.

Недели две спустя после пожара сидели мы возле ручья, разговаривали. Верка принесла красный с синим большой мяч и отдала Генке. Генка с этим мячом выде-

лывал чудеса. Он кидал мяч в стену или в забор и отбивал его головой, потом грудью, животом, коленом одним, другим, опять грудью, затем левым локтем, правым... Больше ни у кого так не получалось. Генка снисходительно обучал нас по очереди этому мастерству, небойдно обзывая то коровой, то черепахой. Как тренера его хватало ненадолго, он забирал мяч и снова показывал класс.

Только Генка начал выделять с мячом такие фортели, как прибежала наша Галка, запыхалась вся, в поболе гороху принесла, высыпала на траву и заторопилась:

— Сейчас Серафимова жена у нас была. Мама ее молоком кормила, с хлебом. Она долго не пила молоко, отказывалась, не хочу, говорит, не могу... Но мама все же заставила. А к хлебу так и не притронулась. Говорит, спим мы с Симой, ну с Серафимом значит, в спальне, а Наташенька в комнате, на кушетке. Сима меня будит и говорит: «Смотри-ка, дождь пошел! Слышишь?» Я, говорит, сказала: «Слышу!» А когда прислушалась — не дождь это вовсе... Ну, когда в двери застучали, поняли, что пожар. — Галка потупилась: — Мама сказала, чтобы я играть шла. Я и не дослушала. А она еще сказала, что Серафиму лучше стало, что лежит он голый под каким-то колпаком, и ему все таблетки сонные дают, чтобы спал и не шевелился...

Удивительное дело: Серафим, этот тихий и скромный человек, сделался нам еще дороже и ближе. Сами того не замечая, мы именно у него учились доброте, справедливости, всему тому, что, наверное, необходимо людям в жизни. И вот теперь, когда Серафим оказался в беде, мы постоянно помнили о нем и переживали за него.

Как-то раз ходили мы всей нашей компанией за земляникой на пальник, и Лизка предложила:

— Вот бы Серафиму отнести!..

— А пустят? — усомнилась я.

— Должны! — заверил Генка.

В городе две больницы: железнодорожная и заводская. В какой из них лежит Серафим, мы не знали. Решили сходить сначала в железнодорожную.

Эта больница вся была в одном доме: здесь и приемный покой, и врачи, и больные. Мы подошли к крыльцу. На двери непонятная табличка: «Терапевтическое отделение». Лизка, не долго думая, толкнула дверь и направилась по коридору. Мы остановились у порога, смотрим, как она идет, взглядывает на двери, остановилась перед одной, подумала и вошла в кабинет.

Не прошло и минуты, как сестра или врач вывела Лизку из кабинета, что-то сердито ей наговаривая, подвела к нам и всех вытурила на крыльцо.

Ленька сидел на нижней ступеньке и теребил Семку за уши. Генки не было. Скоро появился и он, объяснил, что передачи принимают не здесь, а в окошечко, с другой стороны.

Нам решительно не везло: не то обед начался, не то мертвый час. Лизка не громко, но настойчиво стучала в окошечко до тех пор, пока не показалась женщина в белом платочке. Еще дольше, с час наверное, Лизка уговаривала ее передать Серафиму ягоды. Наконец женщина приняла из рук Лизки бокал с земляникой, понюхала, улыбнулась и захлопнула окошечко.

Ответа мы ждали еще дольше.

Ленька с Генкой карабкались по выступу фундамента, заглядывали в окна. Все напрасно. Таньке с Галкой надоело сидеть, и они стали играть в классы. Мы с Лизкой сидели на скамейке подле крыльца и все прислушивались: когда откроется дверь и выйдет сестра, расскажет, как он там, Серафим?

Сестра не вышла, а увидела нас в окно, удивилась,

что мы все еще тут торчим, открыла одну створку и крикнула:

— Все в порядке. Больному лучше. Скоро его домой!

Второй раз мы навестили Серафима уже в его новой аптеке, в конце лета. Мы были уверены, что только земляника может помочь ему быстрее выздороветь, и поэтому снова собирали ее, уже редкую в эту пору, но крупную, яркую, налитую. В густой траве она наливалась соком, вызревала медленно и потому держалась долго.

— Ведь Серафим уже не болеет, — заметила Верка Князева.

— Ну и что? — вспылила Лизка. И Верка тоже стала собирать. Насобирали сколько смогли, принесли домой, ссыпали в тарелку. В середину воткнули веточки, увешанные тяжелыми земляничинами, сверху аккуратно накрыли бумагой и отправились.

Всю дорогу следили мы за Лизкой, чтобы она не задирала голову, а смотрела бы лучше под ноги.

Разыскали аптеку. Он показалась нам на аптеку во все и не похожей. Постояли немножко, и Генка открыл Лизке дверь.

Народу в аптеке мало, всего старик да старуха. За прилавком пожилая женщина стоит, в очках, с виду сердитая, не то что Серафим! Мы подождали, пока старик и старуха ушли. Женщина оглядела нас поверх очков, помолчала и только после этого спросила:

— Вам чего, ребята?

Мы растерялись. Вперед шагнул Генка Стрижов, посмотрел себе под ноги, потом поднял глаза и сказал хрипло:

— Нам Серафима надо... Серафима Денисовича.

Женщина опять поглядела на нас поверх очков и, ничего не сказав, ушла за перегородку.

Лизка пожала плечами и уже вытянула шею, чтобы заглянуть за перегородку, но послышались шаги, и мы приняли серьезный вид. Заранее уговорились, как поздороваемся, как Лизка торжественно вручит Серафиму ягоды.

Первой показалась женщина. За нею Серафим.

Но что это был за Серафим?!..

Танька глянула на него и закрылась ладошками. Галка попятилась к двери.

За прилавком появился человек со страшным, сморщенным лицом. Левый глаз его под очками наполовину был затянут розовым рубцом. Губы оттянуты в левый бок, и вся левая сторона лица будто мелко исполосована, рубец на рубце. А между рубцами кожа розовая и гладкая-гладкая. Волосы коротко острижены.

— Я вас слушаю, — сказал Серафим обычным своим голосом.

И от знакомого его голоса нам сразу сделалось легче. Лизка сорвала бумагу, протянула тарелку с земляникой и громко выпалила:

— Вот! Это вам, Серафим... Серафим Денисович, — не сразу вспомнила его отчество Лизка. — Это мы все насобирали! Вот! Все мы! — торжественно добавила Лизка и повела рукой в нашу сторону.

— Ребята!.. Вы?.. — дрогнул голосом Серафим, а сам смотрел то на нас, то на ягоды, опять на нас. — Пришли! — сказалось у него это так, будто он вот-вот заплачет от радости. — Это, знаете, мои ребята... мои друзья... соседи, — сбивчиво объяснял он женщине за прилавком. — Я уж думал... — Обожженной рукой он крепко вцепился в прилавок, будто не надеялся устоять, удержаться. Другую рукой он шарил на груди, у горла, возле верхних пуговиц рубашки. Пальцы суетились, перебирали пуговицы. — Чудесные ягоды, ребята! Чудесные!.. Только мне

неудобно... Я ж ничего такого... И уже не болею... А вы все, — он часто поморгал здоровым глазом, — вроде подросли! Давно не виделись... — Серафим улыбался и все время будто что-то с трудом глотал. — И тогда, в больницу... Вы знаете, с каким удовольствием я съел те ягоды! — развеселился Серафим. — Сразу поправился! Да-да! Именно с них мне стало лучше! Ах, Манефа-то Павловна не знает! — Серафим говорил то с нами, то с женщиной за прилавком и все перебирал пуговицы на рубашке, и все моргал, и все улыбался.

Мы тоже развеселились, стали наперебой рассказывать, как это время жили, как нас тогда в больницу не пустили. Генка собрался еще что-то рассказать, но в аптеку вошли две женщины, и мы заторопились.

— Ну, мы пойдем, — сказала Лизка, подталкивая меня к двери. — Нам сегодня дежурить.

— А нам подежурить ничего не стоит! — перебил ее Ленька. — Нам даже нравится...

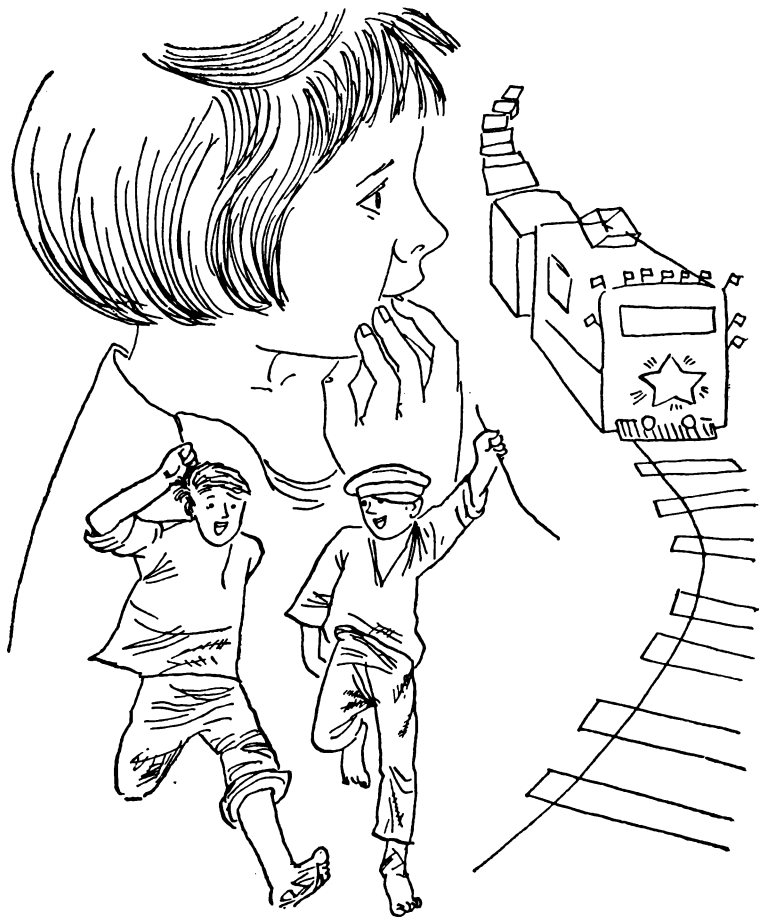
На прощанье мы спросили у Серафима, можно ли нам приходить теперь сюда, как в ту аптеку.

— Конечно! Разумеется! Я очень рад! Я вас...

Женщина за прилавком все так же стояла, прислонившись к стенке, и поверх очков растроганно смотрела то на Серафима, то на нас.

Серафим теперь работает за перегородкой, что-то взвешивает на крошечных весах, разливает по пузырькам лекарства, свертывает порошочки. Когда выходили из аптеки, мне почему-то уже не очень хотелось быть учительницей или портнихой.

«Когда вырасту — буду аптекарем», — решила я.



**ЭЛЕКТРОВОЗ**

**К**ак-то пришел к нам Евдоким Кузьмич, отцовский друг, тоже сцепщик, поздоровался и еще от порога сказал, обращаясь к отцу:

— Все! Откуковали наши кукушки, Елизарович! Весной, если не раньше, начнут и нашу Луньевскую ветку электрифицировать! — Кузьмич произнес это мудреное слово громко, четко, с достоинством. — И гляди так осенью помчат по ней электровозы составы длинные, без мала с версту, потому как машины эти сильные и на ходу быстрые!

Отец сидел у окна, на своем обычном месте, и пришивал стельку к валенку.

— Доброго здоровья, Кузьмич! — повернулся он к гостю, отложил валенок на щербатую от гвоздей и ножевых отметин табуретку, стряхнул с коленей пепел. — Присаживайся. — Отец утер губы ладонью, на тыльной стороне которой отпечатались темные косые полосы от дратв, и принялся свертывать сигарку. Не торопясь закурил, передал кисет с самосадом Кузьмичу, а сам задумчиво и словно печально стал глядеть в окно, на линию, поблескивающую, как полозьями, стальными рельсами на потемневшем от копоти снегу.

Кузьмич почмокал чуть заметными в рыженькой щетине губами, снял полушубок, пристроил его на гвоздь, одернул рубаху и все так же громко продолжал:

— Дело это большое, Елизарович. Шутка ли — без угля пойдет машина!.. — Редкие, слежавшиеся под шапкой рыжеватые волосы Кузьмича спадали на изрезанный морщинами лоб. Он то и дело отводил волосы пальцами, сложенными щепоткой, и приглаживал их, как приклеивал, повыше виска. На лбу Кузьмича и на всем его маленьком лице проступали бледные, крупные, как родимые пятна, веснушки, а голубенькие глаза возбужденно блестели. — А после и автосцепку изладят!

Кузьмич говорил все громче, заразительней, будто чувствовал, что отец сомневается, и хотел во что бы то ни стало убедить его, заставить поверить:

— И полегчает наша работа, и заживем мы, Елизарович!.. Я видел в Москве такие электровозы. Наш фэдэ против них — кляча, прямо скажу. Машинист в электровозе у окошечка сидит, в чистой одеже, и только кнопки нажимает. Я вот только думаю: там уж, наверное, ездят не простые машинисты, как на паровозе, а инженеры либо техники? Такой машиной управлять не всякий сможет...

Отец попыхивал большущей сигаркой, поглядывал в окно и молча слушал Кузьмича. А мы, тесно усевшись на кровати, затаив дыхание, ждали, что и отец сейчас начнет рассказывать про этот электровоз, который осенью, а может и раньше, помчится мимо нашего дома, а за ним покатятся сто или больше вагонов.

Отец слушал Кузьмича, тихо улыбался и старался погасить в себе сомнения, запавшие вместе с радостной вестью. Он ласково и тревожно поглядывал на нас, на мать, задержавшуюся у входа в кухню, и молчал.

Отец не видел такого электровоза, о котором рассказывал Кузьмич. Он только очень ждал и очень хотел, чтобы поскорее появились бы и пошли эти электровозы, чтобы скорее автосцепка пришла бы на смену ручной, и тогда им с Кузьмичом не так тяжело будет дежурить смену, составлять и сцеплять составы, кидать форкопы.

И как только солнышко стало греть сильнее, светить ярче и дни стали длиннее, работа на линии закипела вовсю.

Рабочие подтаскивали сваленные обочь линии новые шпалы, крепко прибивали костылями стальные рельсы, длинной блестящей линейкой с какими-то рамками и делениями на концах тщательно измеряли каждый метр

железнодорожного полотна. А другие рабочие копали ямы, ставили высокие просмоленные столбы. Третьи тянули по ним толстые, тяжелые провода.

Рабочие работают, солнце греет, дело подвигается. Бровки возле насыпи оголились от снега и зеленеть начали.

Мы прибегали из школы, быстро-быстро делали уроки, управлялись по дому и бежали на улицу, усаживались на новые шпалы или на прогретые солнцем и пересыпанные галькой зеленые бровки. Мы наблюдали за рабочими и даже помогали им: подносили костыли, подавали прокладки — деревянные квадратные планки величиной с тетрадный лист, то в ковше приносили пить. И очень переживали, когда рабочие садились обедать или просто отдыхать и засиживались слишком долго.

Нам так хотелось скорее увидеть электровоз!

И дома разговоры про электровозы заводились все чаще и чаще. Антон читал о них в книжках и рассказывал отцу. А отец скажет слово-два, а потом слушает, головой согласно покачивает, сидя на своей седухе у окошка, подколачивая обутки.

Был сухой, почти летний день. Отец спал на печке после дежурства и чуть слышно постанывал во сне. Мы расселись за столом, и мать принялась разливать суп. Но пообедать толком так и не смогли. Мать уже направилась к печке, чтобы разбудить отца, как дверь отворилась и в избе появился нарядный шумный Евдоким Кузьмич.

— Здорово живем, Архиповна! А Елизарович где? Спит? — проследил он за взглядом матери. — Буди давай! На митинг надо! Откуковали наши кукушки! Все! — Кузьмич хлопнул фуражкой, торжествующе потряс рыженькой головой и подмигнул нам всем разом: — Электровоз сегодня пускать станут!

Мы от неожиданности открыли рты, потом повскакали, зашумели, ринулись было на улицу, но мать молча, только взглядом показала на место за столом — еда поставлена, — а сама приблизилась к печке, тронула отца за ногу:

— Отец, проснись! Обедать пора, да и Кузьмич вон тебя спрашивает...

Отец еще с минуту полежал, потом поднялся, свесив ноги, сел на край печки, утер губы ладонью и нашел взглядом Кузьмича:

— Доброго здоровья, Кузьмич. — Отец неторопливо слез с печки, достал валенки, обулся, потом умылся, причесал волосы гребешком и сел за стол: — Подвигайся, Кузьмич, чем богаты...

Мать и Кузьмичу налила супу. Он потер крупные для его приземистой фигуры руки с коротенькими сносившимися ногтями, подсел к столу и стал проворно хлебать из чашки.

Пока мы ели, мать переоделась в чулане и вышла в коричневом шерстяном платье, в черном кашемировом полушалке, смущенная и непривычная. Отец с Кузьмичом поднялись из-за стола и тоже стали собираться. Пока отец переодевался, мать вполголоса обстоятельно наказывала, что и как без нее сделать надо: корову встретить, подоить и самовар когда поставить, картошки начистить.

Мы опять сидели на бровке возле линии и прислушивались, не идет ли электровоз. По обе стороны линии толпился народ. Люди все подходили и подходили, и стало уже так многолюдно, будто весь город сюда собрался. Матери крепко держали своих ребятишек, чтобы те ненароком не угодили под электровоз, хотя до этого дня все мы целыми днями играли возле линии, а то и на самой линии.

И вот послышался гул, незнакомый, долгожданный, все нарастающий.

Появился электровоз!

Появился он неожиданно, как из-под земли вырос — тяжелый, отблескивающий синей краской, без трубы, без дыма, с замысловатой рогаткой на спине. Спереди на нем большая красная звезда. Над нею огромная фара. Всюду, где только можно, развешаны флажки и плакаты. На электровозе, держась за поручни, стояли люди в железнодорожной форме, что-то выкрикивали и размахивали фуражками. Что они кричали, из-за шума разобрать было невозможно.

Мы и дух еще не успели перевести, а огромная красивая машина, продавливая рельсы и даже шпалы, уже пронеслась мимо.

Ждали электровоз долго, а прошел он быстро, как пролетел, огласив округу густой, басовитой, вовсе не похожей на паровозный гудок сиреной.

Люди еще какое-то время стояли ошеломленные и растерянные, глядели вслед умчавшемуся чуду. И только потом, будто опомнившись, громко, разом заговорили, заахали и медленно, словно сожалея о чем, стали расходиться.

А мы остались. И еще много ребят осталось возле линии.

Мы ждали, когда электровоз пройдет обратно. Выбежали на линию и на спор, дернет или не дернет током, прикладывались ухом к холодным рельсам.

«Появился и исчез! Как в сказке! — почему-то подумалось мне тогда, и тут же припомнилась сказка, страшная и интересная: — Вот мчится лошадиная голова! Лес качается, сучья трещат! Остановилась она и говорит: «Девочка, девочка, полезай ко мне в правое ухо и в левое вылезь!» И вылезла девочка принцессою...»

Слова из сказки я, видно, проговорила вслух, потому что ребята враз перестали возиться и громко захохотали.

— Сама-то ты лошадиная голова! — сквозь смех выкрикнул какой-то незнакомый парнишка, и тут же запрыгал и закричал: — Лошадиная голова! Лошадиная голова! Эй, ты, лошадиная голова! — Он подбежал ко мне и дернул за волосы.

Я отскочила и закрыла лицо руками, но тут же услышала, что парнишка тот заревел, посмотрела, а он бежит от линии, придерживая штаны с оторвавшейся лямкой. Я догадалась: Генка с Ленкой дали ему и за лошадиную голову, и за электровоз!

Весь вечер только и говорили о первом электровозе. К нам приходили соседи посидеть, поделиться впечатлениями. Дядя Егор был выпивши. Опершись руками в широко расставленные колени, он смотрел в пол, крутил головой и все что-то наговаривал сам себе, разобрать же можно было только «ечмену кладь». Тетя Нюра рассказывала, будто электровоз тот останавливался на каждом разъезде. Путевые рабочие залезали на площадку электровоза и плясали вприсядку, и только после этого невиданная машина шла дальше...

На другой день, в воскресенье, был общегородской праздник. Праздновали День железнодорожника и пуск первого электровоза.

На заборах, на дверях магазинов, на клубе — всюду висели объявления о том, что на лугах, за рекой, состоится загородное массовое гуляние, будет буфет, будут танцы под духовой оркестр, игры и аттракционы.

С самого утра нарядные железнодорожники парами, семьями, а то и табунами шли и шли в сторону оврага, к переправе через Комасиху, организованной по случаю массового гуляния. Паром, как огромная подсадная утка, прикрепленная к канату, скользил от берега к берегу.

Мы явились на луга, когда веселье там было уже в полном разгаре. Первым делом обошли всю округу, где проходило гуляние.

Буфетные столы густо и напористо осаждали мужики. Потные и довольные, с высоко поднятыми над головами бутылками, один по одному выбирались они из людской гущи на простор, одергивали выбившиеся рубахи, утирались и направлялись всяк к своей компании.

В стороне на просторной поляне работал затейник, молодой парень с бакенбардами и усиками, в парусиновых брюках и белых туфлях. Он показывал фигуры танца, затем раскидывал руки и кричал: «И-и-и р-р-раз!..»

Шумно и весело было возле аттракционов. Мы едва протиснулись вперед. Парень с завязанными глазами шел к шнуру, протянутому меж кустами, тыкал рукой с ножницами, резал пустоту и все дальше в сторону уходил от цели. Пожилой мужчина задом наперед шел по бревну. Чуть в стороне девушка бегала от табуретки к табуретке, черпала ложкой воду из одной тарелки и, пока бежала к другой, в ложке уже было пусто. Мы постояли, но внимания на нас никто не обращал, выбрались из тесного круга и пошли дальше.

Под развесистым осоком расположились музыканты и почти без перерыва дули в трубы. Грохал барабан. Потные и разгоряченные пары лихо отплясывали краковяк, самозабвенно топтались, выделявая фигуры фокстрота, и вихрем, совсем уж бесшабашно кружились в вальсе. На вытоптанной площадке было тесно. Пары налетали друг на дружку, толкались, наступали на ноги, но разбираться и извиняться некогда: пока играет музыка, надо танцевать.

Музыканты играли так призывно и заразительно, что нам тоже захотелось танцевать. Но кружиться вместе со взрослыми мы не решились, а отбежали за кусты, вслу-

шались в музыку, разделились на пары и начали подражать взрослым. Чего только ни выделявали мы ногами, как ни танцевали, пока не выдохлись! Посидели, пошмеялись и отправились гулять по вытопанной траве.

Представление о времени мы потеряли и чувствовали только, что сильно проголодались. Когда снова подошли к танцевальной площадке, затейник с бакенбардами был уже тут. Он громким голосом объявил прощальный вальс.

Народ потянулся на берег.

Когда мы подбежали к реке, паром только что отчалил. Мы остановились возле мостков и стали ждать. Народ все подходил и подходил. Берег тяжелел от громкого говора, песен и смеха, гудел и переливался яркими пятнами от нарядной одежды.

Наконец-то паром вернулся к скрипучим мосткам из новых, неструганых и затопанных досок. Лизка, Танька, я и Галка юркнули под перекладину, устроились в переднем углу, возле каната, и увидели, как народ плотной стеной выстроился подле самой воды и на мостках в ожидании переправы. Люди тоже не стали ждать, когда паромщик выдернет из скоб перекладину. Одни верхом переваливались через нее, другие нагибались и подлезали снизу.

Скоро перекладина оказалась на полу.

Паромщик силился остановить людской поток, кричал, чтоб не лезли... Но на пароме уже было не пошевелиться. Паромщик поднял тяжелую струганую жердину, пытался засунуть ее концами в скобы. Да где там! Люди все напирали, увлекали за собой и перекладину, и паромщика. Он не вытерпел, плюнул и бросил жердину. Кто-то ойкнул, заругался: перекладина больно ударила по ногам. Но общий шум заглушил и вскрики, и ругань паромщика.

Нас вовсе притиснули в углу, а люди все еще цеплялись, карабкались, тяжело взбирались на паром.

Паромщик, кряжистый, немолодой, с узловатыми жилами на шее, поплевал на руки и несколько раз натужно перехватился по канату. Мужики, оказавшиеся поблизости, стали ему помогать.

Тяжело ударяясь огромным веслом, прикрепленным к стойке, о каменистое дно, паром чуть отчалил от берега и замер на месте.

— Не повезу! Перетонете! И я вместе с вами! Не повезу! — Паромщик с силой начал расталкивать людей, пробираться к борту, будто собрался покинуть паром вместе с оголтелой публикой. — Вон барка как осела! Спрыгивайте, кто с краю! Река ведь, не канава!..

Бабы, посерьезнев, вытягивали шеи, заглядывали в воду и тоже принимались уговаривать тех, кто с краю, сойти на берег.

Мужики в ответ на это в десяток рук ухватились за канат и под команду «Раз-два, взяли!» заперебирали толстый витой цинк, мешая друг дружке.

Мне послышалась в голосе паромщика не угроза, а тревога. «Пожалуй, и нам надо сойти на берег, — подумала я, но тут же оправдалась перед собой: — Мы же первые зашли на паром. Пусть выходят другие, кто после пришел».

Паром между тем скрипел, подрагивал и тяжело, будто в глину, врезался в воду, медленно удаляясь от берега. Поплыли! И вот уже стали различимы кусты ивняка, разросшиеся над самой водой. А на пароме вдруг началось движение: все запереступали, затолкались. Ногам сделалось холодно и сыро.

— Вода-а-а-а!..

— То-о-оне-е-ем!..

— А-а-а-а!.. — дикий вопль раскатился по парому.

А вода, как после большого ливня, все прибывала, поднималась, дошла до щиколоток, до колен, до пояса, нам и того выше. Кругом шум, визг, неразбериха. У мужиков из карманов поплыли коробки с папиросами, спички. Всплывали яркие подошвы. Иные надувались пузырем, но тут же скручивались, слипались, сковывали движения.

Паром качнуло, и задний его борт начал медленно оседать, проваливаться. Люди волной схлынули в воду, забарахтались, забились, разноголосно, истошно заорали. Они хватались друг за дружку, подминали под себя один другого, стараясь выкарабкаться наверх и уцепиться за настил парома. Но их подминали уже другие. Некоторые выныривали, хватали открытыми ртами воздух, отчаянно и беспомощно колотили по воде руками и ногами. Не все умели плавать, но и тем, кто умел, выбраться из этой сумятицы было очень трудно. Вода кипела, завихрялась. Один парень подпрыгнул, уцепился за канат руками, подтянулся и, как в тиски, захватив канат ногами, стал медленно пробираться к парому. Хватались и за него, но парень отпинавался.

Облегчившись, паром выровнялся. Вода пошла на убыль. Оказывается, один борт его накренился и просел между старыми сваями, уцелевшими от давно снесенного в половодье моста. А теперь вот выровнялся, сел, как на подставка.

От берега отделилась лодка. Два мужика, налегая на весла, рывками гнали лодку вперед. Лодка еще не успела пристать к парому, как к ней кинулись люди. Они цеплялись за борта, карабкались из последних сил. Кто половчее да потрезвее, переваливался через борт, плюхался на дно лодки и переводил дух.

Мужики отложили весла, стали помогать людям, но скоро поняли, что двоим не управиться, и снова взялись

за весла. Они старались выровнять лодку и орали бабам и мужикам, лепившимся со всех сторон, чтобы те не отпускались, но вели бы себя спокойно, тогда они доведут лодку до берега. Люди не слушали, лезли, бились, полуживые липли к лодке, как ракушки к затонувшему кораблю. Лодку разворачивало, раскачивало, она все больше черпала бортами воду и скоро уже вверх дном облегченно покачивалась невдалеке от натянувшегося каната.

Вопль неся с берегов. Люди махали руками, кричали и плакали. Рев низкой дождевой тучей сгустился над осевшим паромом и, как густой туман, повис над Комасихой.

Паника унималась постепенно. Откуда-то появилось очень много лодок. Они одна за другой без усталости сновали по реке, шлепались о борта паромов, принимали людей и без заминки бежали к берегу. Несколько лодок кружили еще по воде, вылавливали и спасали тех, кого относил течением. Лодочники внимательно всматривались в воду, но людей в воде уже не было. На пароме народу тоже оставалось все меньше.

Мы так перепугались, что не заметили, как стронулся паром со старых свай, заскользил по воде и уткнулся в сходни.

Лизка взяла Галку и Таньку за руки и повела их по сходням на берег. Я смотрела вслед их тоненьким фигуркам в мокрых платьях, тоже порывалась бежать, но пальцы мои все еще стискивали сырую граненую скобу, и я никак не могла их расцепить.

Первым делом мы отбежали от людской толчи, укрылись в ивовых кустах, скинули с себя платья, отжали и развесили. Вылили воду из ботинок и разложили

их на солнышке. Полуголые, босиком, мы прыгали, чтобы согреться и поскорее забыть о недавно пережитом страхе.

Платья маленько подсохли. Мы быстренько напялили их на себя, теплые и мятые, обулись в побелевшие сырые ботинки. Лизка вытащила из кармана четвертинку шляпы от подсолнуха с выеденными семечками, выколу-пала из середины белую мякоть, которой мы часто на-тирали ботинки, чтобы блестели, хотела подновить. Но мякоть намокла, раскисла, и Лизка брезгливо закинула ее в кусты. Платья на нас смешно топорщились, в ботинках хлюпало, но беспокоило не это: что скажем дома?

Направились домой, уговорившись заранее ничего не рассказывать.

Переправа больше не работала. Люди нескончаемой цепочкой, похожей на огромную, пеструю гусеницу, тянулись по тому берегу к железнодорожному мосту.

Мать вскрикнула, увидев нас, приложила руки к груди и с благодарностью обратилась к образам. Губы у нее шевелились, пальцы перебирали мелкие оборочки на кофте у ворота, а мы стояли и ждали, когда она заругается или заплачет.

Тетя Нюра Исупова сорвалась с табуретки, стала тормозить то меня, то Галку и все спрашивала про своих девчонок. Я сказала, что они уж дома сидят, и снова уставилась матери в спину. Тетя Нюра, будто не могла сразу поверить, еще потрясла меня, но тут же выпустила и бросилась к двери.

— Дошла до бога твоя молитва, Архиповна! — не-весело проговорила она на ходу. Тетя Нюра не призна-вала бога и часто необидно подзуживала мать.

— Я уж молилась тут Николаю-чудотворцу, — будто оправдываясь, тихо заговорила мать, собирая на стол.

Голос ее срывался от слез. — Сколько, говорят, народу погинуло...

Стукнула калитка, и в избу вошел отец. Он прошел на кухню, звякнул большим медным ковшом о ведро и шумно, большими глотками начал пить. Я слышала, как он опустил ковш в ведро, постоял, еще раз напился, перевел дух и только после этого вышел из кухни. У порога он снял грязные сапоги и поставил их в угол, повесил на гвоздь тужурку и устало опустился на седуху.

Галка, как ни в чем не бывало, доедала картофельную шаньгу и припивала молоком. А я с трудом проглотила кусок, отодвинула кружку, уставилась перед собой в стол и стала ждать, что скажет отец.

Отец молчал.

Я, не поднимая головы, встретила с его взглядом, вздрогнула и отвернулась. Отец кашлянул, порывлся в кармане, достал кисет, но закуривать времени не было.

— Пошто к реке-то лезете? Какие с водой шутики? — спустя время сказал он и снова замолчал. — Я вон с плотами одиновою... Думал, не выберусь... А вы малы ведь!..

«Дура я, дура! И чего поперлась на это гуляние? Дура я, дура!.. Но ведь массовое же! Кто же знал?..»

— Сейчас есть станешь или перед сменой? — спросила у отца мать, прервав мои горькие раскаяния.

— После, — тихо отозвался отец, докурив сигарку, посидел еще и полез на печку.

... Паровозы тем временем ходить стали вовсе редко. Вместо них могучие электровозы тянули длинные составы.

Постепенно привыкли и к электровозам, привыкли и к тому, что изба наша уже не так мелко и легко подрагивала, как в те времена, когда мимо проходили паровозы, а тонко позвякивала стеклами, судорожно дергалась, и чудилось нам, будто под полом вздыхала земля.



БЕДА  
ПРИШЛА  
НОЧЬЮ

О пять дожили до весны, до тепла. Ольга выучилась на кассира и уже принесла домой две настоящие полочки. Парни раз в месяц приезжали домой по бесплатному билету-провизионке. Антон заканчивал восьмой класс и собирался в техникум. Жизнь налаживалась, вот только автосцепку не наладили и к этой весне.

Насыпь возле линии обсохла, поляна влажно зеленеет. Лишь ручей все еще не мог успокоиться и шумным потоком, метра в два шириной, напористо рвался в огород. Как-то мы удумали запрудить этот ручей. Генка руководит. Мы таскаем камни, доски, старье разное — перемазались все, вымокли, но запруду сделали. И только успели подняться на линию — полюбоваться с высоты своей работой, — только заспорили, куда ручей разольется, как прорвало нашу запруду, даже две доски в изгороди проломило водой.

Кое-как заделали пробоину, замаскировали, вымыли в ручье руки и собрались уходить. Генка посмотрел, подумал и предложил:

— Давайте на спор через ручей прыгать? — И тут же, не отрывая глаз от ручья, начал пятиться. Отошел немного, разбежался и перемахнул через ручей. Лизка посмотрела на Генку, на ручей — и туда же! Лизке перемахнуть через такой ручей ничего не стоит. Она вон и без разбега перепрыгнула.

За Лизкой Ленька расхрабрился.

Они прыгают. Мы стоим, смотрим и про себя завидуем. Верка Князева, ни слова не говоря, вдруг тоже подбежала к ручью и тоже перепрыгнула, даже ног не замочила!

Ребята разошлись. Туда-сюда прыгают, хохочут, прыгаются, нам «слабо» кричат.

Не вытерпела и я, отошла подальше, попуце разбежалась и с разгону... столкнулась с Ленькой. Ленька

плюхнулся в ручей, но как-то извернулся и быстро выскочил из воды. А меня подхватило потоком и перекувырнуло несколько раз. Я уж и воды нахлебалась, пока Генка с Ленькой меня выволокли.

Явились домой как два утопленника: мокрые, посиневшие, остановились у порога — и сразу на полу лужа.

Галка рядом с нами стоит, от порога не отходит, не раздевается.

Отец дежурил во вторую смену.

— Как это вас угораздило? — растерянно покачала головой мать. — Нет чтоб за малыми приглядеть, так они сами... Раздевать я вас буду? — прикрикнула она и принялась растапливать буржуйку.

Скоро в печке затрещало, засветилось пламя. Мать вытащила из ящика сухое бельишко, сунула нам на кровать и ушла в кухню. Вышла оттуда с караваем хлеба, взяла нож и начала сердито кроить его на длинные ломти. Галка вокруг нее топчется, все в глаза заглядывает и все толкует:

— Они ж не нарочно... Упали они, когда...

— Без сопливых обойдутся!.. Заиздыхают вот еще!.. Поживей-то не можете? — все еще сердилась мать. — Завтра воскресенье, а вы вот на печке весь день сидеть станете! И отцу расскажу! А захвораете, дак поленом лечить стану!

От буржуйки по избе расплывалось тепло, мы отогрелись, одежонку сушить приспособили, поужинали и улеглись. Уснуть сразу не могли, шушукались, хихикали, вспоминали, кто как прыгал... Мать поставила на стол кринку топленого молока, рядом положила каравай хлеба. И хлеб, и молоко накрыла чистым полотенцем, цыкнула на нас, чтоб угомонились, ушла в кухню, разделась и со вздохом легла.

Мы еще маленько повозились и затихли.

Проснулась я оттого, что показалось мне, будто кто плачет. Открыла глаза и вижу: на столе лампа перевернутая горит. Мать сидит возле стола на табуретке, голову руками зажала и, не мигая, смотрит на этот слабенький огонек. Электричество хоть и было, да горело с перебоями, особенно по ночам.

Вдруг мать быстро поднялась, заходила по избе и тихо заплакала, как застонала:

— Господи!.. Спаси и помилуй раба твоего... Господи!.. — И так вцепилась пальцами в голову, будто собиралась вырвать волосы с корнями.

И все ходила, ходила...

Потом присела на минутку, уронила голову на руки, и сделалось видно, как тяжело вздрагивают ее плечи под старенькой кофтой. Опять встала и опять заходила по избе от стола к порогу и обратно. Дошла до двери да как ударится головой о косяк, да как заплачет в голос...

Ребята тоже зашевелились. Лежим, реветь не смеем. Ольга приподняла голову; потом села на кровати, посмотрела на мать, поморщилась, будто старалась понять спросонок, что происходит, босиком подошла к матери и легонько обняла ее за плечи:

— Ну, не плачь, мама, не плачь, успокойся. Папка, может, еще на смену остался работать... Ну, мало ли... Вот рассветает маленько — и я сбегая, узнаю...—А сама тоже плачет, слезы с губ слизывает.

Тут и мы не удержались, запели на разные голоса. Нинка с Васюткой проснулись, тоже захныкали.

Мать и раньше, ожидая отца с работы, то и дело подходила к окну и беспокойно вглядывалась в сторону станции. Работа у отца не только тяжелая, но и опасная. И как облегченно вздыхала и светлела мать, завидев отца, здорового и невредимого, как проворно начинала орудовать у печи!

Мать поднялась, прикрыла нас одеялом, сказала: «Спите!», взяла со стола лампу и ушла в кухню.

Я не заметила, как снова уснула. И, кажется, только успела глаза закрыть, как снова услышала уже громкий, надрывный плач матери, торопливый говор сестры и догадалась: случилась беда. А когда услышала слово «больница» и что сейчас мать с Ольгой и Антоном пойдут туда — страх сковал меня.

Маленько погода поднялись и мы с Ленкой и Галкой. Оделись и тихо, чтобы не разбудить Васютку с Нинкой, вышли из дому. Постояли, прислушались к шуму ручья, поднялись на линию и зашагали по шпалам в больницу.

Пришли, открыли дверь и увидели на скамейке Ольгу и Антона. Матери с ними не было. Ольга, увидев нас, гуськом пробирающихся в приемную, заревела. Антон сидел молчаливый, сникший, растерянный, и было похоже, что он держится из последних сил, чтобы тоже не зареветь.

В приемную вошел Евдоким Кузьмич в рабочей одежде. Он остановился у двери, оглядел нас, покривился, судорожно затряс редковолосой головой и, схватив лицо в горсть, быстро вышел.

Сколько мы просидели, не знаю. Появилась сестра в белом халате и сказала, что мать останется при отце дежурить, а нам надо идти домой.

Было еще раннее утро. Мы кучкой шли по линии. Ольга всю дорогу утирала платком глаза и молчала.

Оттого ли, что Ольга ничего не говорила, или от предчувствия, мне сделалось страшно. Я вцепилась в ее руку, повисла и заревела как под ножом. Глядя на меня, заревела и Галка.

Ольга схватила меня и Галку за руки так, будто мы могли вырваться и убежать, и быстро пошла вперед.

Мы еле поспевали за ней, часто оступались, шагали мимо шпал. Галка беспрестанно падала, уже разбила себе коленки. А Ольга спешила и спешила, словно нас догонял поезд и вот-вот мог раздавить.

Молчала Ольга и дома. Она молча заглянула в печь, потом взяла подойницу, налила в нее немного воды, перекинула через плечо старенькое полотенце, повязала платок, как мать, и ушла к корове.

Ленька принес дров сначала в русскую печку, затем мелких — в буржуйку, встал перед ней, как отец, бывало, на одно колено и начал разжигать. Проснулись Нинка с Васюткой. Я помогла им одеться и стала убирать с полу постель. Галка взяла полуоблезлый березовый веник, намочила его в ручье и начала подметать пол. Все работали молча.

И ели молча. До этой поры я и не знала, что можно сидеть за столом и не хотеть есть. А тут вот не хотела. Да и все, не считая малых, ели вяло, неохотно и скоро вылезли из-за стола.

Антон оделся и ушел. Галка стала мыть посуду. Мы с Ленькой носили воду, чистили картошку, крошили хлеб да рубили крапиву курицам. Пока были заняты, было легче. Но вот дела кончились. Что еще делать, не знали: работу нам всегда находила мать. Ольга хозяйничала на кухне и нас помогать не звала.

Мы оделись и отправились на улицу.

Солнце греет весело, а играть неохота. Послонялись мы по ограде и уселись на бревна под навесом, возле стайки. Васютка убежал на свое любимое место: уселся на рельсу и стал поколачивать камешком по шпалам. С Васюткой просто беда: как сорвется — так и на линию, шпалы подбивать. И кто бы ни спросил у него, кем он работать станет, когда вырастет, Васютка бойко отвечал, что будет подбивать шпалы.

Как-то мы сразу четверо заболели корью. Я, Ленька и Галка лежали в лежку, а Васютка переносил корь на ногах. Мы лежим, присмотреть за ним некому, мать и так с ног сбилась. Приходит Манефа Павловна, приносит Васютку на руках и говорит:

— Архиповна! Ваш ведь ребенок на линии? Сидит в одной рубашонке, а сам весь как ошпаренный. Поколачивает камешком по шпалам...

Ничего, обошлось, и осложнения не сделалось.

Только мы уселись под навесом, явились Лизка с Танькой. Лизка удивилась, что мы такие смирененькие сидим.

— Попало?

— Не-е, — тихо отозвалась я и наклонила голову.

— А чо тогда сидите тут?

— Так.

— У нас папку буферами раздавило, и он теперь в больнице, может даже помрет, — сообщила Галка.

Ленька со злостью так толкнул Галку в бок, что она еле удержалась на бревне, поднялся, засунул руки в карманы и пошел из ограды.

— Это правда? — подсела ко мне Лизка.

Я потрясла головой и будто вытряхнула из глаз слезы. Они горохом покатались по щекам, глухо падали на подол платья и расплывались на нем дождевыми каплями. Галка с Танькой пошептались, пошептались, потом Танька достала из кармана скакалку, девчонки вышли на середину ограды и стали прыгать через веревку по очереди.

А мы сидели. Лизка ни о чем не расспрашивала, не уговаривала, она и так все понимала — и я была ей за это очень благодарна.

— Была бы земляника, набрали бы... — вздохнула Лизка. — Серафиму вон тогда сразу полегчало...

Я опять потрясла головой.

— Вы ходили к нему?

Я кивнула и, уже не в силах сдерживаться дальше, заревела в голос. Не удержалась и Лизка.

Когда мы с Лизкой немного успокоились, взяли у нас в чулане пустую бутылку, вымыли, налили из кринки молока, выбрались через огород к линии и тайком от девчонок отправились к отцу в больницу.

Как и в тот раз, мы опять долго сидели на скамейке возле больничного крыльца. Лизка не вытерпела, залезла на выступ фундамента и стала пробираться вдоль стены от окна к окну. Заглянет в окно — и дальше. Вот она прильнула к стеклу, замерла на минуту и только собралась мне помаячить, как сорвалась с выступа. Она быстро вскочила, отряхнула платье и, прихрамывая, подошла ко мне:

— Вот, в этом... Архиповну видно, а его нет. Может, как следует присмотреться, так и увидела бы. — Она поплевала на ободранное коленко. — Давай я тебя подсажу.

Я вскарабкалась Лизке на спину, но до окна дотянуться не могла. Тогда Лизка отправилась искать лестницу или доску какую. А я зажала бутылку в руках и остановилась перед окном:

— Папа! Па-ап! Ты только не умирай! Ты только не умирай! Пожалуйста, не умира-а-ай... — Я не услышала, как и когда появилась мать. Она взяла у меня из рук бутылку с молоком и, как маленькую, повела за руку куда-то. Накинула на меня большой заношенный халат, и мы пошли по длинному коридору. Оказались в большой светлой палате.

Отец лежал в углу, повернув лицо к стене. Мать осторожно поправила на нем одеяло, села на край стула возле кровати и меня посадила рядом. Она не спраши-

вала, зачем я пришла и почему одна. Не спрашивала, как там, дома. И не плакала, только руки ее тряслись. да грудь, видно, распирало горем, и потому она при каждом вздохе чуть слышно стонала.

Я только успела рассмотреть отцовское ухо с наполовину отболевшей после ознобления мочкой, худую морщинистую шею и нос с горбинкой. Дольше смотреть уже не могла: меня душили слезы. Я дотронулась до одеяла в том месте, где острым углом выступала согнутая в локте рука отца, и заплакала.

Мать притиснула меня к себе, молча просила успокоиться. В палате появилась сестра, посмотрела в наш угол. Мать опять со стоном вздохнула и легонько подтолкнула меня в спину...

Ни Ольги, ни Антона дома не было. Васютка в отцовской фуражке с молоточками над козырьком расхаживал по избе. Фуражка то и дело съезжала ему на уши, на глаза. Он приподнимал ее, делал сердитую рожицу и пугал Нинку. Та визжала, ужималась и пряталась от братишки. Горе пока их не касалось.

Ленька сидел на отцовской седухе, перебирал обувь, принесенную в починку, валяную обречь, сматывал дратвы, собирал в банку рассыпанные шпильки.

Я поглядела на Леньку, и у меня что-то дрогнуло внутри. Мне показалось, будто Ленька собирается вместо отца подшивать валенки. Но разве он сможет? Стельки прошьет, дратвы сделает, а дальше?..

Как же мы жить будем, если отец долго пролежит? А если... Я не смогла думать об этом дальше, выбежала из избы.

Сначала шла к станции и все думала: сколько же мы верст с отцом прошли по этим шпалам, по этой линии! Если ему выпадало работать в первую смену, мы всегда утрами ходили вместе: я в школу, он на работу.

Я впереди, отец за мной. Ребята норовили еще маленько поспать или просто поваляться в теплой постели, а после всю дорогу неслись в школу бегом и еле поспевали к звонку.

Идет отец, покашливает, сигаркой попыхивает и меня подбадривает:

— Ничего, что рано прибежишь. Если, дак у Ивановны побудешь, пока школу откроют. — Ивановна, школьная сторожиха, тоже приносила отцу обувь в починку. — Конечно, и тебе бы поспать еще маленько можно. Ребята спят, поди. Ну, да ничего. Опоздаешь — хуже. Я тоже заходя на работу прихожу. Привык уж...

Задумалась и едва успела свернуть с линии, когда проходил состав. Машинист показал мне кулак, а Семка жался к моим ногам и тывкал на вагоны.

Мы долго бродили по улице, поднимались в конец переулка, где когда-то подшибли Бобалиху, побывали у хлебозавода, сходили к часовне и только после этого направились к аптеке. Долго сидели на нижней ступеньке крыльца, пока я решилась войти.

Женщина за прилавком внимательно меня оглядела и, ничего не спросив, позвала Серафима.

Он скоро появился, сказал: «Я вас слушаю», — но тут же вышел из-за прилавка, взял меня за локоть и усадил на скамью у окна.

— Я вас слушаю... — почему-то шепотом повторил он.

— Серафи-им, у нас папку раздавило-о... вчера... — я закусила лацкан жакетки, чтоб не зареветь, и неотрывно смотрела в пол.

Серафим посидел около меня, погладил по плечу, затем принес в стаканчике немножко лекарства и велел выпить. Я выпила. Серафим сжимал в руке пустой стаканчик, часто моргал здоровым глазом и говорил будто сам себе:

— Что поделаешь? Я аптекарь. Всю жизнь с лекарствами. Для людей. Некоторым помогают... У всех бывают несчастья. Но самое большое несчастье — это когда человек остается один... Вас много. И люди кругом, соседи... Трудно, да вместе.

И когда провожал с крыльца, все говорил:

— Переживется потихоньку. Трудно. Горе такое... Но когда все вместе... И люди в беде не оставят... И время сейчас другое...

До той ночи я не знала и того, что от горя может потеряться сон. Это была самая долгая ночь в моей жизни. Я лежала на печке, на отцовском месте, и не могла уснуть. До рези в глазах я всматривалась в икону с ликом Николая-чудотворца, еле различимого в потемках, и про себя упрасивала его сотворить чудо — «исцелить отца моего» — так молилась мать.

Чуда не случилось.

Через два дня отец умер.

Около обеда домой пришла мать, бледная, разом исхудавшая до костей и какая-то совсем чужая: не строгая и шумливая, а безгласная, тихая, с невидящими глазами. Она сняла пальто, подошла к посуднику, накапала из пузырька в стакан капель датского короля, нацедила из самовара маленько воды, выпила, не поморщившись, и легла на кровать во всем, как была. От нее немного пахло больницей и мазутом: мать несла узел с рабочей одеждой отца.

Приходили соседки, приносили нам кашу и хлеб и, тихо вздыхая, старались заговорить с матерью:

— Архиповна, матушка...

— Соседушка, поела бы...

— Кума...

Мать не шевелилась, не отзывалась.

Она лежала, уставившись в передний угол, на иконы, и первый раз за все эти годы, сколько я помню, лежала так, будто отдыхала, никуда не торопясь, ни о чем не беспокоясь. Мы жались в углу возле стола и боялись отвести от матери глаза, боялись, что и с нею вот-вот что-то случится.

Мать поднялась, когда привезли отца, покорного, иссиня-бледного и тоже совсем чужого.

В избе сразу сделалось тесно от народу. Ольга велела нам пока уйти к Стрижовым. Когда мы зашли туда, тетя Тина сразу засуетилась, начала усаживать нас за стол, угощать, будто мы три дня не ели. Дядя Егор сидел на кровати, жалостливо глядел на нас, покачивал головой и беспрестанно повторял «ечмену кладь».

Тетя Тина накормила нас, убрала со стола, сходила к нам, а когда вернулась, сказала, чтобы мы скорее шли домой.

Отец лежал на столе, уже в гробу, закрытый по грудь белым полотном. В изголовье у гроба горели тоненькие желтые свечки. В ноги отцу люди клали на простыню тройки и рубли, а некоторые по веточке цветов или вербочек, и отходили.

В избу протиснулись ребята. Впереди Генка, за ним Лизка и Танька с Веркой. Лизка осторожно подошла к столу, постояла, посмотрела на отца и положила ему в ноги букетик подснежников. Первые цветы с еще коротенькими стебельками рассыпались на полотне, и по избе разлился нежный запах.

Мать не плакала. Она в коричневом шерстяном платье и черном кашемировом полушалке сидела подле гроба прямая и печальная. Неотрывно глядела она на отца, будто припоминала все, что ими было вместе пережито, и еще очень хотела, требовала, умоляла этими

своими сухо блестящими глазами, чтобы отец сказал: как же ей жить-то теперь?..

Мать только на время, на очень короткое время потеряла власть над собой — когда гроб с телом отца стали выносить из избы. Она ухватилась за изголовье гроба, осела от бессилия и горя — и устоявшуюся тишину пронзил глухой, душу раздирающий крик.

Люди растерялись. Костя-околыш проворно подхватил мать под мышки. Она понемногу справилась с собой и тяжело пошла за гробом.

Городское кладбище почему-то было за рекой. По этой реке отец много раз плавил сено. Река не широкая и не бурная, но веснами разливалась вширь, затопляла луга, делалась голноводной. В этот день она раздурилась от ветра, валы по ней ходили и глухо бились в каменистый берег. На реке пусто, только белые бурунчики мелко вспыхивали на мутной воде и быстро гасли.

Шумит река. Волны захлестывают мостки, с которых бабы воду черпают. Народу видимо-невидимо, и взрослые, и ребятишки. Кругом люди тихонько разговаривают:

— Как же Елизарович поплывет в такую падеру?

— Попросить бы разрешение да по мосту, в обход...

— Наказывал, говорят, чтоб по воде. На ней вырос, по ней сено плавил. Срослись...

— Жить бы да жить ему еще...

— Ох-хо-хо, семьища-то какая осталась!..

— А народу, народу-то! Берег ломится!

Я заглядывала под берег, когда откатывали валы, хотела увидеть, где же он проламывается, где ломаться начинает, чтобы отца спасти в последний раз, чтоб людей предупредить...

Но берег не проламывался.

Мать подошла к большой лодке, посмотрела на реку, на другой берег, подумала и сказала:

— Давай, Кузьмич, поплывем. Все равно надо. Чему быть — будет...

Поставили гроб в лодку, нас посадили. Рокот проносился по берегу. Люди подались вперед и замерли на самом краю, возле кипящей желтоватой воды, а потом, будто опомнившись и до конца поняв, что происходит, женщины на берегу тонко заголосили.

Едва успела наша лодка отплыть от берега, даже еще не вышла на струю, как валы на реке стали уменьшаться, сделались мягче, ласковей и начали вовсе усмиряться, утихать. И вдруг проглянуло солнце! Небо очистилось, заголубело. На воде заиграли, зарябили солнечные зайчики. Лодку уже не поднимало волнами, а плавно и тихо покачивало от ударов весел. Вокруг сделалось так светло, что было уже больно глазам.

Вслед за нами от берега все отходили и отходили лодки, переполненные людьми. Лодок было уже так много, что, казалось, от них тесно на реке. Люди провожали отца.

Плач с берега все еще доносился до нас, но уже тише, приглушенной.

Наша лодка удалялась и удалялась от берега. И хотя утихла, успокоилась река, я все крепче, до боли в пальцах держалась за гроб. Только здесь, на реке, под этот общий плач поняла я, что вижу отца своего в последний раз, что его никогда у нас больше не будет.

Осторожно, одним только пальцем я дотронулась до отцовских губ. Они не раскрылись, не улыбнулись, только маленькая вмятинка осталась на холодной синей губе отца...



КОНЧИЛИСЬ  
НАШИ  
ИГРЫ

**П**рискпела пора копать в огороде и садить картошку. Мать уже не ставила бражку, а поднималась по утрам еще раньше, чем прежде, и отправлялась в огород. Мы, придя из школы, тоже вооружались лопатами. Но копали мы мелко, плохо разбивали комья, и гряды у нас получались низкие и неровные. Мать оглядывала нашу работу, качала головой, но не ругалась.

Дела подвигались медленно.

В субботу, позабыв про обиды, пришли к нам Колдунья с дядей Володей, тетя Тина, тетя Нюра с Костей-околошом, Серафим и Бобалиха. Все с лопатами, все в старенькой одежде. Пришли и без лишних разговоров принялись за дело.

Мать тайком смахивала слезы, готовила обед и «руководила», как сказал Костя-околош. Ленка с Генкой вытаскивали из ямы картошку. Мы с Лизкой резали ее вдоль на половинки, а девчонки перебирали лук, разбирали чесноковины на зубки, шелушили горох и бобы. Прошлым летом эту работу мы делали шумно, весело, с озорством.

В воскресенье к вечеру артелью управились с посадкой. Покончив с работой, мы помогали вытаскивать стол и табуретки в ограду и ели там вместе со взрослыми, как заправские работники.

Мать благодарила соседей, а нам снова наказывала, чтобы после жили как люди, чтобы не с сусеками, а с соседями.

Этим летом кончились наши игры.

Лизка бросила школу и подала документы на рабфак, чтобы выучиться на медицинскую сестру.

— Как знаешь, не маленькая уж, — отозвалась тетя Нюра на Лизкины слова насчет рабфака. А дядя Костя обрадовался и даже возгордился самостоятельностью любимой дочери.

Генка Стрижов тоже настоял на своем и подал заявление в летное училище. Когда он взял из школы документы и явился домой, тетя Тина, всегда тихая и покладистая, сначала не поверила в Генкину затею. Она взяла в руки свидетельство об окончании семилетки, долго подслеповато рассматривала бумагу, по слогам вполголоса читала Генкины отметки. Дочитала, перевернула лист, осмотрела чистую сторону и растерянно уставилась на сына:

— Ну и что теперь?

— Поступаю в училище, — без колебаний ответил Генка.

— В училище! А как жить станешь? Где? Чо есть-пить будешь?

— Только бы приняли! — бодро заявил Генка. — Не пропаду. Не я один. Раз решил — значит, все!

Потом тетя Тина плакала, ругала Генку за вольнодумство, а дядю Егора — за то, что дал парню волю. Грозилась написать старшему сыну в армию, чтобы он пропесочил в письме Генку и отговорил бы от такого дела, пока не поздно.

— Он вон на всем готовеньком, в тепле — да и то не больно глянется, — убеждала тетя Тина. Несколько раз, не считаясь с усталостью, она пережидала, пока семейство уляжется спать, подсаживалась к Генке на постель, как малого, гладила по голове и жалостливо просила:

— Генька, одумайся, а?.. Шутка ли — с таких годов мытарства переносить на чужой стороне. Вырастешь, в армию сходишь, ума наберешься — тогда хоть летчиком, хоть кем будь, и слова не скажу... Послушай ты меня, а? — И все старалась заглянуть сыну в глаза.

Генка не горячился, не перебивал мать, а так, слушал и не слушал — думал про свое. И чем больше думал, тем явственнее, ближе виделось ему чистое, бескрайнее небо,

слышался гул моторов. Он уже видел себя за штурвалом самолета, сердцем чувствовал высоту... И отводил в сторону глаза, переполненные нетерпеливой, тревожной радостью.

Тетя Тина принимала Генкино молчание как раздумье. Это вселяло в нее надежду, и, немного успокоенная, она отправлялась спать.

А Генка все мечтал. Все думал. Думал до тех пор, пока радость не переходила в тревогу: «А вдруг не примут? Вдруг не возьмут?..»

Совсем по-другому смотрел на Генкино решение дядя Егор. Он так удивлялся и радовался Генкиной отчаянности, что от переживаний не мог найти себе места, сделался шумливым, беспокойным. Он то и дело взъедался на тетю Тину, доказывая ей свою и Генкину правоту. И то ли от досады, что жена не в состоянии понять все это, от волнения ли — несколько дней кряду ходил выпивши.

Ножная машина не стрекотала. Фартук комом валялся на длинном столе. И только трубка без передыха сипела в его зубах.

— И чего ты северишься? — приставал он к тете Тине. — Чего аркаешься, если у парня такое рвение к летчицкому делу! Пушай едет! Пушай учится, если ума хватит. Летчик — это человек! Ечмена-то кладь! — возбужденно утверждал дядя Егор. — Пушай хоть один летает! Хочу, чтобы Генька летал! — топал он деревяшкой. — Хочу, чтобы сын летчиком был! Чо мы, хуже людей, ечмена-то кладь...

Тетя Тина никак на это не отозвалась, и дядя Егор не на шутку разозлился. Он допил остатки вина из бутылки, бухнул неживой ногой в дверь и ушел из дому, сердито топая деревяшкой.

В таком беспокойном состоянии он пришел к нам, долго усаживался на табуретку, будто раздавить ее соби-

рался. Наконец уселся. Когда вышла из кухни мать, дядя Егор громко заговорил:

— Архиповна! Генька мой на летчика учиться надумал. Летчик — это человек! Ечмена-то кладь! — стукнул себя кулаком по колену дядя Егор. — Сама сопротивляется, а я горжусь!..

— Дело хорошее, — сдержанно отозвалась мать.

Дядя Егор вдруг расслышал боль в голосе матери, враз насторожился, потряс головой и совсем трезво посмотрел на нее:

— Извиняй, Архиповна, нашумел...

Он поднялся и грузно пошел из избы.

Мы были в ограде. Танька с Галкой скакали на доске, под середину которой была подложена плаха, отскакивали от нее поочередно и взвизгивали всякий раз. Генка разговаривал с Ленькой. Лизка навалилась на бревенчатую стену стайки с замазанными глиной пазами, смотрела непонятно куда и пела тихо, для себя:

Окрасился месяц багрянцем,  
Где море шумело у скал...

Я слушала Лизкину песню, без интереса наблюдала за девчонками и все поглядывала на закинутые под крышу навеса веревки от качелей. Отец каждый год весной привязывал веревки за толстое бревно под крышей навеса. В петли укладывали доску с зарубками на концах. На середину доски усаживались тесно все, кто поменьше да побоязливее, а на концы становились кто посмелее да по сильнее. Один конец доски оказывался под навесом, другой — под открытым небом. Мы целыми днями раскачивались на этих качелях, лузгали семечки, щелкали орехи, распевали песни, визжали и крепче хватались за веревки, если Генка с Лизкой здорово зыбали качели.

Войдя в азарт, Генка тормозил качели, приказывал

всем убираться, сам становился на конец доски, что под навесом, и с вызовом ждал напарника. Им чаще всего оказывалась Лизка. Приседая и упираясь подошвами в торцы доски, они раз от раза раскачивались все сильнее, взлетали все выше, доска уже становилась почти торчком. Лизка бледнела, а Генка стискивал губы, выгибал спину так, что рубаха надувалась пузырем, и все зыбал, зыбал... Зыбал до тех пор, пока головой не упирался в крышу.

Это была победа.

Качели сбавляли ход, раскачивались все медленнее и, когда останавливались, Генка получал выигранное в споре крашеное яичко или горсть орехов, усаживался на середину доски и, перебирая ногами по земле, лениво покачивался, будто отдыхал.

Лизка зло и восхищенно глядела на Генку, иногда ухватывала момент, подскакивала к качелям и толкала конец доски с такой силой, что Генка, не ожидавший подвоха, валился на бок, а то и вовсе падал с доски, роняя яичко или рассыпая орехи. Мы хохотали, успевали подобрать орехи и снова рассаживались на доске...

Теперь доска с зарубками стояла в углу. Качели никого не интересовали.

Показался дядя Егор, постоял, помотался из стороны в сторону, посмотрел на нас, на небо, прищурился. Голову скружило, и он несколько раз переступил на месте, чтобы не упасть. Нашел равновесие и направился из ограды.

За воротами дядя Егор снова остановился, издали оглядел свой дом с крыши до завалины и неожиданно раскинул руки, выпятил грудь.

Эт-то чей?

Это чей

Новый дом из кирпичей?..

— с выкриком пропел дядя Егор, замотал склоненной головой и пошел к дому.

— Пап, ты чего так блажишь? — по-взрослому смущенно окликнул отца Генка.

Но дядя Егор уж не слышал и никак не отозвался. Генка поднялся и пошел вслед за отцом: не занесло бы его снова куда по пьяному делу.

А мне подумалось, что это радость за Генку так буйно хлещет из дяди Егора. Наверное, он и сам уже видел Генку летчиком, виделся ему и дом новый, из кирпичей, в каком сын-летчик жить будет. И думал так дядя Егор не из корысти, а просто считал, что именно так должно быть.

Лизка и Генка уже отыскиали себе дорогу в жизни и осенью пойдут по ней. А я?..

Соседки, как и прежде, заходили к нам и по делу, и просто так, попроведать. А я все чаще думала: «Вот сенокос подходит. У кого же теперь люди узнают, когда косить начинать? Все теперь, наверное, перемешается, и, может, некоторые даже без сена останутся...»

Но как-то после ночного дежурства зашел к нам Евдоким Кузьмич. Матери дома не было.

Кузьмич снял в сенках рабочую тужурку, умылся, поговорил о том, о сем. Я принесла из чулана кринку молока, достала хлеб. Кузьмич от еды не отказался, а Леньке велел достать с сарая вилы, грабли да литовки. Поел Кузьмич, свернул козью ножку и отправился под навес. Он, как и отец бывало, все внимательно осмотрел, ощупал. Грабли с поврежденными зубьями вместе с неисправными литовками и вилами отложил в сторону. Докурил сигарку Кузьмич и принялся за дело.

Когда пришла мать, все уже было изложено. Кузьмич сидел под навесом на бревнах, дымил козьей ножкой и с

теплой печалью глядел на Нинку с Васюткой, возившихся с Семкой.

Мать присела подле Кузьмича, и они тихо о чем-то стали разговаривать.

В воскресенье рано утром Евдоким Кузьмич явился с женой и привел с собою еще двух пожилых мужчин в выгоревших форменных фуражках. Мать оживилась, разбудила нас и велела поживее одеваться.

После завтрака мужики закурили на дорожку. Ленька посадил Семку на цепь, чтобы не увязался за нами, а караулил бы дом. Пес, пока мы не вышли из огады, все скулил, все вилял хвостом и все протягивал то одну, то другую лапу.

У Леньки на ремне через плечо висела отцовская кожаная сумка. Из нее торчали горлышки бутылок с молоком, заткнутые бумажными пробками, и зеленое луковое перо. Там же лежали бруски — литовки отбивать, сахар, соль да махорка для мужиков, потому что самосаду нарубить не догадались.

Я несла голубой эмалированный чайник. В него мать сложила вареные яички, кружку с маслом, ложки и обмылок, завернутый в полотенце. Хлеб, картошку и все прочее, сложенное в заплечные мешки, несли мужики, вышагивая вслед за нами, закинув грабли да вилы на плечи.

Дошли до карьера. Здесь был перека: кончался подъем и начинался спуск. И всякий раз, когда мы шли с покоса или на покос, здесь отдыхали. Отец снимал фуражку, клал подле себя, оглаживал усы и волосы, закуривал и смотрел вдаль, на Комасиху, на луга, на далекие скалистые горы.

Только сели отдыхать, как земля под нами мелко задрожала и вскоре из карьера донесся грохот: там взрывали породу. Я вздрогнула от близкого взрыва, посмотрела на всех, на заводские дымы внизу и подумала: «Отеца

нет больше, а в жизни все как было: и люди живут, и камень взрывают, и мы вот на покос идем...» — и сама себе удивилась, как по-взрослому рассудила все.

Только мы успели миновать переезд, как по линии загромыхал товарный поезд. Машинист, высунувшись в окно, улыбнулся, что-то крикнул и помахал фуражкой. Евдоким Кузьмич и дяденьки, что шли помогать косить нам, тоже помахали фуражками.

Состав уже скрылся в темном пихтаче, а шум его еще долго отдавался в горах.

«И поезда идут, как ходили, и люди работают, — снова поразила я. — Значит, надо и нам жить, и матери помогать, жалеть ее. Правильно Серафим говорил, что когда все вместе — легче...»

Спустились к лесной речушке, которая в засушливое лето местами почти пересыхала. Какие-то два парня, с Леньку ростом, засучив штаны, стояли по колено в воде и рыбачили. Оказывается, даже в этой речушке рыба водится! А мы сколько раз ее перебрехали и ни одной рыбешки не видели. К речке, нам навстречу, вытянулось по лесной дороге стадо коров, которых гоняли теперь в ночь. Завидев нашу Девку, я отдала Леньке чайник, подбежала к ней, погладила по теплой шее и дала корочку хлеба.

Пришли на покос, сложили подле шалаша пожитки и, не мешкая, взялись за косы. А мне мать велела сперва похозяйничать.

Я принесла воды, смородиновых веток, ободрала с них листья, ополоснула, наломала помельче, столкала в чайник и приспособила его на огонь. Чай со смородином лучше, чем с вареньем! Отец всегда такой чай кипятил. Затем стала убирать поклажу в шалаш, подальше от солнца, и все наблюдала, как Евдоким Кузьмич обучал Леньку косить. Он поставил его с собою в ряд, показал, как держать косу, враз с ним замахивался косой,

враз переступал. Ленька сначала часто запинаясь косою, сбиваясь, но постепенно взмах его делался уверенней, шире, и выкошенный ряд выравнивался.

Показалась мать, постояла, посмотрела, прижав ладонь к груди, и тихо, дрогнувшим голосом сказала:

— Так, мужики, так. И Ленька вот...

На Кузьмиче белая рубаха — и я с остановившимся сердцем несколько раз бросала работу.

За обедом говорили о том, что и травы нынче хорошие, и погода удалась.

— И постоит еще погодка, — заверил Кузьмич, поглядев на небо, — управимся. А парень-то наловчился, едва поспеваю, — с улыбкой кивнул он на Леньку. — А ты, Кланыя, поменьше беремья-то таскай. Трава волглая, увесистая... Надо, чтоб силы человеку на всю жизнь хватило, — рассудительно сказал Кузьмич. — У тебя она только-только начинается. — Он почмокал губами и стал свертывать козью ножку.

Отец, наверное, сказал бы так же. Я поднялась и пошла на берег.

Солнце залило все вокруг. Комасиха, на сколько хватало взгляда, рябила солнечными бликами. Золотистая дорожка легла наискосок от берега к берегу, и только тени от скал черными плитами давили на воду возле берегов.

Вдали показался плот, груженный сеном. Внутри у меня все напряглось. Я постояла, подождала, пока плот приблизится, всмотрелась в лицо мужика, толкавшегося шестом, — нет, не он, — и, не оборачиваясь, пошла к шалашу.

«Больше мы уж никогда не будем плавить сено по реке. Костя-околыш обещал вывезти по санной дороге. А когда свалят сено в ограде и лошадей погонят на конный двор, в сани к нему заберутся Галка с Нинкой, мо-

жет и Васютку прихватят. И доедут они до хлебозавода, а обратно уж пойдут пешком. Как мы когда-то... А мы с Ленкой станем помогать мужикам, будем утапывать сено на сеновале. А завтра снова пойдем на покос. И уж не будем бегать на берег и спрашивать: «Кто украл ключи от магазина?» — и после слушать эхо. Не маленькие...»

Дальше раздумывать было некогда. Мужики вовсю уже размахивали литовками. Я попила из чайника и принялась вытаскивать траву из тенистых мест.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

---

Отец мой работал сцепщиком	5
Ручей так бушевал...	31
Колдунья	39
Костя-околыш	47
Смерть Романа	53
Руфочкина свадьба	61
Дядя Егор	71
Бобалиха	83
Наше первое дежурство	97
Серафим	107
Электровоз	125
Беда пришла ночью	139
Кончились наши игры	153

---

**КОРЯКИНА**  
**Мария Семеновна**



Художник С. Можаява

## **ОТЕЦ**

Повесть для среднего и  
старшего школьного  
возраста

Редактор А. Зебзеева. Художественный редактор М. Тарасова. Технический редактор Т. Дольская. Корректор Е. Божанова.

Сдано в набор 2/VIII-1968 г. Подписано в печать 19/IX 1968 г. Бумага тип. № 2 70×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Печ. л. 5,125 (усл.-прив. л. 7,175), бум. л. 2,5625; уч.-изд. 6,712. ЛБ05451 Тираж 15000 экз. Цена 30 коп. Пермское книжное издательство. Пермь, Карла Маркса, 30. Пермская книжная типография № 2 управления по печати Коммунистическая, 57. Заказ 1119.



30 коп.